
Н.К. ВЕСЕЛОВСКАЯ
1940
ЗАПИСКИ
ВЫЕЗДНОГО ВРАЧА
СКОРОЙ ПОМОЩИ
1953
ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
ТОМ
27

Н. К. Веселовская

Записки выездного врача скорой помощи
(1940 – 1953)

СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»
под редакцией Г. А. Бордюгова



Наталь Константиновна Веселовска
1906 – 1999

Н. К. ВЕСЕЛОВСКАЯ

ЗАПИСКИ ВЫЕЗДНОГО ВРАЧА СКОРОЙ ПОМОЩИ (1940 – 1953)

Редакция и предисловие
А. Г. Макарова

Второе издание

Москва
2016

Серия «АИРО – первая публикация»
под редакцией Г. А. Бордюгова

Дизайн обложки *С. Щербина*

Н. К. Веселовская. Воспоминания выездного врача скорой помощи (1940 – 1953). Редакция и предисловие А. Г. Макарова. Серия «АИРО – первая публикация» под редакцией Г. А. Бордюгова. 2-е изд.– М.:АИРО-XXI,2016. – 184 с.

«Записки выездного врача» Натальи Константиновны Веселовской рассказывают о работе «Скорой помощи» в Москве в предвоенное время, в годы войны и в первые годы после нее. В книгу включены ее воспоминания о «квартирных мытарствах», где даны яркие картины жилищных условий москвичей в советскую эпоху. Вторая часть книги посвящена краткому очерку жизни ее младшего брата Бориса, молодого ученого, яркой личности, погибшего на фронте в 1943 г. Этот рассказ дополняется подборкой писем брата из армии 1942 г., воссоздающих атмосферу жизни советских людей в ту тяжелую пору.

ISBN 978-5-91022–277-3

СОДЕРЖАНИЕ

«Дорогой Натулек!.. Маме сейчас очень трудно...»

Из жизни одного поколения

Заканчивается первое десятилетие XXI века. Оглядываясь назад, оценивая прожитые уже годы, неожиданно для себя приходишь к выводу – с середины XX столетия сменилось уже несколько исторических эпох, которые лично пришлось пережить, приноравливаясь к изменениям и самого строя жизни, и культурной и идеологической среды, и многообразной нашей российской повседневности. Это и «хрущевские годы» середины 50-х – начала 60-х гг. со скромным, но уже налаженным бытом, оптимизмом повседневной городской трудовой жизни, радостью полноценной учебы и постоянных все новых свершений и достижений. Это и «шестидесятые» – когда на непродолжительное время после снятия Н. С. Хрущева возникло и утвердилось чувство зрелости, взрослости наших сограждан и одновременно – ощущение перспективы, возможности развития, роста... Последовавшая за этим долгая «брежневская» эпоха – особое время медленного погружения в болото конформизма и «меркантильности». С нараставшим чувством пессимизма и общей апатии. Завершилась

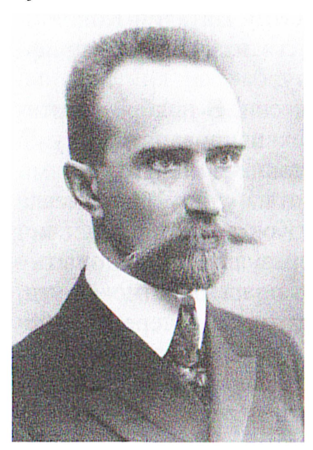
эпоха взлетом новых надежд и ожиданий, страстей и эгоизма, нараставшей деморализацией в ходе «перестройки». И как печальный итог – хаос и общая катастрофа ельцинского десятилетия. Четыре эпохи, так непохожие друг на друга…



Но если задуматься о старшем поколении, о прожитой ими жизни. О поколении наших родителей, к которому принадлежала и «тетя Наташа», Наталья Константиновна Веселовская… Возникает странное чувство чего-то невероятного, невозможного – а через сколько же «эпох» пришлось пройти им, начинавшим свою жизнь на старте века XX? Моя мать, Ирина Константиновна, хорошо помнила и свои детские годы 20-х, и голодную, но такую насыщенную, энергичную молодость предвоенных 30-х, и тяжелые будни военных и послевоенных лет. А «тетя Наташа», ее старшая сестра, застала и хорошо помнила (о чем со временем оставила подробные свои записки-воспоминания) еще и предреволюционные годы старой России. Восемь исторических эпох… На протяжении одной человеческой жизни – возможно ли вынести это? Не сломаться, не согнуться под тяжестью переменчивых обстоятельств – не потерять себя? Оказалось, что можно!

Наталия Константиновна родилась 29 мая 1906 г. по ст. стилю. Ее дед, Борис Степанович, происходил из старинной служилой семьи столбового смоленского дворянства – первые упоминания о Веселовских в российской истории относятся ко времени царя Алексея Михайловича. Получив

хорошее агрономическое образование в Гори-Горецкой академии, он со временем был приглашен управляющим имениями Н. А. Львова, внука известного архитектора и поэта, основные владения которого находились в Саратовской губернии, в Балашовском уезде. Женился он на представительнице древнего, но небогатого рода южнорусских помещиков – Лозино-Лозинских. Леонида Степановна родила и воспитала пятерых сыновей и семерых дочерей. Там, в имении Львовых Бобылевке, они прожили около трех десятилетий. За время службы Борису Степановичу удалось «по случаю» купить небольшое имение Лунино в соседней волости, где он, уйдя от Львовых, и поселился на склоне лет. Скончался он в 1911 г., похоронен на Бобылевском кладбище, рядом с теми местами, где прошли лучшие годы его жизни.



Второй сын Бориса Степановича, Консантин, будущий отец Наталии Константиновны, сначала подумывал о военной карьере, но слабое здоровье закрыло ему этот путь, и он со временем нашел свое призвание в земской работе. В 1900 г. его избирают председателем Балашовской уездной земской управы, и он руководит уездным земством в течении 12 лет. Там же в Балашове Константин Борисович встретил свою будущую жену, Александру Васильевну Мелентьеву, выпускницу Высших Бестужевских курсов, которая с 1903 г. была директором Балашовской женской гимназии.



Помимо Наташи у них родились еще Борис (1911), Татьяна (1913) и Ирина (1915). В 1912 году болезнь заставила Константина Борисовича уйти со службы в земстве и поселиться в Лунино. Там их и застала революция 1917-го. Первое время, пока еще малозаметные, нарушения не меняли еще привычного течения жизни. Но довольно быстро спокойная жизнь закончилась – пришлось из глухого сельского угла переехать в Балашов. К осени 1918 г. постепенно все более разгоравшаяся гражданская война привела к провозглашению «красного террора». Отцу Наталии Константиновны пришлось спешно «бежать» из ставшего прифронтовым города к матери в Москву.

Завершилась эта история трагически. В ноябре квартира, в которой жила семья, была реквизирована для нужд ЧК, и Александра Васильевна с четырьмя малыми детьми оказались буквально выставленными на улицу. Она писала мужу в Москву отчаянные письма, Константин Борисович предпринял в ноябре 1918 г. безрезультатную попытку приехать и увезти в Москву семью, на обратном пути, долгом и крайне тяжелом, заболел тифом и через две недели скончался в Москве.

Во время своего последнего приезда в ноябре отец так и не смог повидать детей. Он только передал записку, которую Наталия Константиновна запомнила на всю жизнь:

«Этот клочок бумаги, – пишет она в своих воспоминаниях, – после смерти папы стал для меня как бы его заве-

щанием и всегда стоял у меня перед глазами и звучал в ушах.

«Дорогой Натулек!
маме сейчас очень трудно.
Помоги ей с малышами...
твой папа».

В течение почти всей своей жизни я помнила его завет и старалась исполнять его, как могла и умела... Записка эта всегда была со мной, пока, наконец, в трамвае у меня не украли сумочку с деньгами, паспортом и этой запиской. Но слова эти звучат для меня до сих пор: «*Дорогой Натулек*!..»



Конец 1920-х. Дети без отцов. (Константина и Сергея Борисовичей) Сидят (слева направо) Игорь, Ирина, Елена. Стоят Наташа, Борис, Тамара, Татьяна.

Телеграмма о смерти мужа пришла в Балашов из Москвы одновременно с получением Александрой Васильевной направления на работу учительницей в село Повалищево. Здесь, в глухом углу, на границе Саратовской и Тамбовской губерний, пройдут два с половиной года жизни семьи – матери и четверых детей, из которых старшей, Наташе, еще не исполнилось и тринадцати, а младшей, Ирине, – четыре года. Испытания сплотили всех: взаимопомощь, дружес-

кое отношение друг к другу, помощь и поддержка младшим – все это укрепилось и осталось в семье на все последующие годы.

В дальнейшем жизнь развивалась так: в начале осени 1921 года, в самый канун Великого голода, семье удалось уехать в Москву. Их поначалу приютил у себя в подмосковном «владении»-даче дядя Наталии Константиновны, Степан Борисович, тогда уже ставший широко признанным историком русского Средневековья. Немного позднее семья перебралась в Москву. 20-е годы проходят в напряженной борьбе за повседневное существование, учеба в школе, потом Университет (Наталия Константиновна поступает в МГУ и заканчивает медицинский факультет). Она выбрала своим призванием работу врача, посвятив этой работе около четырех десятков лет своей жизни. Ее брат Борис, моложе ее на 5 лет, поступал в ВУЗ соответственно позднее, времена были уже не те: началась индустриализация, коллективизация, власти стали намного пристальнее смотреть на «социальное происхождение» молодежи. Так что, несмотря на неоднократные успешные сдачи экзаменов, Борис Константинович так и не



Наталия Константиновна, Борис Степанович сын Костя. 1935 г.

не закончил институт и занимался серьезной научной работой, не имея соответствующего диплома. Спустя многие годы, во время войны, это сыграло свою роковую роль в его судьбе.

Наталия Константиновна начинает работать врачом в Нарофоминской больнице, выходит замуж своего двоюродного брата, Бориса Степановича. В 1932 г. рождается сын, названный ими Константином. Но жилищные условия ужасны, и они всей семьей уезжают в провинцию, в Мелитополь, где и работают до самого кануна войны, 1940-го года. И лишь перед войной Наталия Константиновна возвращается опять в Москву.

* * *

В этой книге читатель найдет небольшие по объему воспоминания Наталии Константиновны, в которых она рассказывает, что было с ней, что она видела и чему была свидетелем в последующие военные и послевоенные годы. С захватывающим интересом читаются ее рассказы из жизни московской станции «Скорой помощи». Случаи из практики, события, обстановка тех лет... Но главное – это яркие и живые характеры наших соотечественников, современников, чьими стараниями, упорным и напряженным трудом создавалась тогда наша страна.

Отдельным разделом идут воспоминания о пережитых «квартирных мытарствах». Может быть, современному читателю удастся хотя бы отчасти воссоздать и почувствовать те реальные условия, в которых довелось жить старшему поколению.

Во второй части книги помещен краткий очерк жизни младшего брата Наталии Константиновны, Бориса, погибшего на фронте в боях под Великими Луками в январе 1943 года. Она хотела хоть как-то сохранить в памяти его

светлый образ. Ею же были собраны и сохранены его письма из Армии. Они позволяют нам и сегодня почувствовать, чем жили, как дышали люди в трагические годы XX века. О нем же, о Борисе Константиновиче, рассказывает его близкий друг, друг всей большой семьи Веселовских, Игорь Александрович Нечаев.

Передавая на суд читателя собранные в этой книге рассказы, письма, воспоминания хотелось бы, прежде всего, попытаться воссоздать ту удивительную атмосферу энергии, борьбы, стремления к лучшему, большему, человеческому, на которую теперь, по прошествии многих десятилетий смотришь с изумлением и даже восхищением. Как смогли они, часто голодные и полуразутые-полураздетые, вопреки всем возникавшим неблагоприятным обстоятельствам повседневности, сохранить достоинство и любовь к жизни, радостное восприятие окружающего и целеустремленность в достижении поставленных целей? Какой дружной, сплоченной семьей смогли пройти свой жизненный путь?

Пусть эта небольшая книжка будет данью памяти поколению – предвоенному, послереволюционному. На его долю пришлось много трудностей, но оно с честью прошло через все невзгоды и бури. Светлая память им всем. И благодарность наша за содеянное. Вспоминая их жизнь, сопоставляя пройденные ими испытания с современной столь неопределенной и размытой эпохой «постмодерна», будем знать, что нам есть, кого вспомнить в тяжелые минуты современной жизни, есть, у кого попросить совета, есть на кого оглянуться – они, давно ушедшие в мир иной, смогут и оттуда поддержать нас в трудную минуту. Просто фактом прожитой своей жизни.

А. Г. Макаров

Наталия Константиновна
Веселовская

Записки

выездного врача скорой помощи

(1940 – 1953)

Посвящаю
Александру Сергеевичу Пучкову,
начальнику Станции скорой помощи Москвы

Александр Сергеевич Пучков

Я работала на Станции скорой помощи под руководством доктора Александра Сергеевича Пучкова, главного врача московской скорой помощи, в 1940–1952 годах. Моя первая встреча с ним состоялось 20 августа 1940 г. Я пришла к нему с письмом от Михаила Владимировича Голицына, отца Машеньки – второй жены моего двоюродного брата Всеволода Степановича Веселовского. Голицын и Пучков, врач Московской Городской думы, работали вместе в санитарных организациях беженцев во время Первой мировой войны и хорошо знали друг друга. Я только что приехала из Ростова-на-Дону, где не смогла устроиться в стационаре, а в амбулаторию на прием не хотела идти. У меня был 10-летний врачебный стаж сначала по неотложной медпомощи с одновременной экстернатурой в крупном родильном доме, затем 6 лет работы ординатором-хирургом в межрайонной больнице (бывшей земской окружной) в Мелитополе, на Украине.

Александр Сергеевич принял меня внимательно и доброжелательно, подробно расспросил о предыдущей работе, сказал, что я, по-видимому, вполне соответствую требованиям, предъявляемым к врачам «Скорой», и предложил

мне ознакомиться с работой выездных бригад практически. Я тут же подала ему заявление, которое он передал секретарю (Антонине Сергеевне Ждановой) с указанием прикрепить меня к врачебным выездным бригадам, дабы на вызовах практически усвоить все правила и установки. Через несколько дней ознакомления я была включена в график дежурств, получила свою постоянную бригаду из двух фельдшеров и начала работать, что продолжалось почти 23 года.

Александр Сергеевич Пучков (родился в 1887 г., умер 9 июля 1952 г.) происходил из старинной московской купеческой семьи Пучковых. На Крестовском кладбище, что за Рижским вокзалом, имеются многочисленные надгробия – массивные чугунные плиты на могилах его дедов и прадедов со старинными надписями: «купец ... гильдии Пучков», «Купец и почетный гражданин ... Пучков» и с датами рождения и смерти.

Отец его, С. В. Пучков, потомок голицынских крепостных, тоже был врачом, работал на московской Пастеровской станции (Б. Казенный пер.) и жил там на казенной квартире со своей семьей. Благодаря этому Александр Сергеевич с раннего детства имел возможность наблюдать различных, собранных отовсюду, больных столбняком, бешенством, которые находились на излечении, но лечить их и предупреждать эти заболевания тогда еще не умели как следует.

Сам он пошел по стопам отца, стал врачом. Еще студентом Московского университета он принимал участие в санитарной, организационной работе Московской городской думы. Первая мировая война застала его молодым врачом. Он попал в санитарный поезд, вывозивший раненых с фронта и беженцев из Западного края. Массовость

военного травматизма и недостаточная по размерам и четкости помощь раненым поразила его и дала толчок к развитию его организаторских наклонностей. По окончании Гражданской войны, вернувшись в 1921 году в Москву, он начал работать в Медицинском отделе Московского Совета, где стал заниматься организацией работы Станции скорой помощи.

* * *

Из предисловия к книге А. С. Пучкова «Организация скорой медицинской помощи в Москве». М.: 1957.

«Александр Сергеевич Пучков родился в Москве в семье передового врача-общественника. Окончив в 1906 году 4-ю Московскую гимназию, он поступил на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1911 г. со званием «лекаря с отличием».

Несколько лет А. С. работал врачом-экстерном в городских больницах по хирургии, терапии и гинекологии.

В 1914 г. был призван в армию и откомандирован в распоряжение Красного Креста. Уже в те годы, будучи еще молодым врачом, А. С., по отзыву работавшего вместе с ним Н. Н. Бурденко, проявил себя блестящим организатором.

После Великой Октябрьской революции А. С. Пучков добровольно вступил в ряды Красной Армии и работал начальником военно-санитарного поезда им. Луначарского. В 1921 г. он был откомандирован в распоряжение Мосгорздавотдела. Пучков становится одним из активных работников здравоохранения. Организация работы скорой помощи, участие в организации помощи на дому, создание неотложной помощи в Москве, работа по организации и развитию службы скорой помощи по Советскому Союзу – вот основные разделы его деятельности…

Страстный гуманист, благородный борец за человеческую жизнь, Александр Сергеевич первый в СССР разработал вопрос о роли станции скорой помощи в борьбе с несчастными случаями…

Свою большую организаторскую и руководящую деятельность в области здравоохранения А. С. Пучков сочетал с работой депутата, сначала районного Совета депутатов трудящихся, а с 1947 г. – Московского городского Совета.

Правительство СССР высоко оценило заслуги А. С. Пучкова, наградив его двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями "За оборону Москвы", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." и "В память 800-летия Москвы"».

Создание в Москве службы скорой помощи

Оказание помощи при несчастных случаях и внезапных тяжелых заболеваниях было до Октябрьской революции поставлено из рук вон плохо. Население привыкло обращаться к частнопрактикующим врачам или в городские больницы, построенные и содержавшиеся на средства города и благотворительных организаций. Для уличных случаев при полицейском управлении было две пароконных кареты с фельдшером и полицейским, они выезжали только на уличные происшествия с несчастными случаями, брали пострадавших и отвозили их либо в морги, либо в ближайшие больницы. Медицинская помощь на месте оказывалась самая примитивная, недостаточная и неквалифицированная*.

Уже в начале своей работы Александр Сергеевич добился утверждения штата врачей и фельдшеров для организации скорой медицинской помощи, а также получил несколько разнокалиберных легковых автомобилей загра-

* Сведения эти получены мною лично от старого фельдшера 1-й подстанции, Степана Ивановича, который до революции и сам работал несколько лет на этих полицейских каретах. – *Н. В.*

ничных марок, переоборудованных сразу же под носилки, для перевозки больных. Телефонные сигналы ***03*** были выделены исключительно для бесплатного вызова скорой медицинской помощи. При Институте им. Склифосовского был создан телефонный узел, куда сходились все сигналы ***03***.

Там дежурил старший врач и несколько телефонисток, принимавших вызовы от населения. Оттуда ими давались распоряжения бригадам на выезд по указанному адресу. Решением Моссовета были предоставлены преимущества машинам «Скорой» при движении по городу – особые знаки на автомобилях, громкие сирены для беспрепятственного проезда, установлена форма персонала и т. п. В самих машинах были созданы условия для оказания медпомощи на месте: носилки, шины, перевязочный материал, кислород, аптечка с набором лекарств, стерильные пакеты с простынями для тяжелых и больших ранений, обширных ожогов и т. п. Станция была создана на самостоятельных началах при Институте им. Склифосовского, там же в гараже поместились первые автомобили «Скорой», а в дежурках – выездной персонал.

Велика беда – начало!.. Постепенно, но неукоснительно складывалась вся организация, дополнялась, расширялась, совершенствовалась. Будучи депутатом Московского Совета, Александр Сергеевич хорошо понимал роль и место здравоохранения, в частности, «Скорой», в жизни столицы и ежедневно и ежечасно держал связь с советскими органами и опирался на различные ведомства в организации и проведении своей работы.

В 1940 году, когда я стала работать на «Скорой», в Москве существовало уже семь подстанций: центральная, при институте Склифосовского с пятью выездными бри-

гадами, и еще шесть при крупных больницах: 1-я – при 1-й Градской больнице на Б. Калужской, 2-я – при больнице им. Боткина на Беговой улице, 3-я – при Таганской больнице, 4-я – у Киевского вокзала, 5-я – при больнице № 40 в Ростокино и 6-я – при Благушенской больнице. Эти шесть подстанций имели по две врачебные бригады.



Таким образом, на всю Москву было 17 бригад, рассредоточенных по городу для более быстрого приезда на место происшествия.

Работали сутками, с 8 часов утра, через трое суток свободных, всегда в одном и том же составе – врач и два фельдшера. Шоферы автомобилей, прикрепленных к бригадам, ездили в три смены тоже сутками. Вызовов бывало по 12–20 за сутки. Согласно КЗОТу, бригада получала трехразовое питание из больничного котла. Если ночью не было вызовов, разрешалось спать, не раздеваясь и не разуваясь, чтобы быть в полной готовности к немедленному вызову. Время от записи вызова ответственным фельдшером до выезда машины из гаража – от одной до полутора минут, максимум – две. Время выезда контролируется старшим диспетчером, к которому поступают сигналы в результате нажимания каждым членом бригады на ходу в машине своих кнопок; поступает сигнал и от сторожа, открывающего ворота.

Старшему диспетчеру сообщалось время сдачи больного и время возвращения бригады на свою подстанцию. Из больниц, по сдаче больного, обязательно звонили старшему диспетчеру и получали или следующий вызов или распоряжение возвращаться на станцию. В конце войны стараниями Александра Сергеевича на машинах были установлены рации с двусторонней связью, что очень облегчило работу и дало возможность старшему диспетчеру «ловить» освободившиеся машины в пути и вручать им новые адреса.

Все эти способы и возможности контроля выявляли, как на ладони, качество работы каждой бригады, особенно врачей. В случаях повторяющихся грубых несоответствий диагнозов или мероприятий и, вообще, нарушения установок станции врачи вызывались для беседы или к Пучкову, или к Т. Ю. Марковичу*. Бывали случаи, когда некоторых врачей освобождали от работы, в основном, за систематическое нарушение или невыполнение строгих правил работы. В то же время каждый год несколько врачей направлялись на курсы повышения квалификации при Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУВ) с отрывом от работы, или прикреплялись к стационару Института им. Склифосовского для работы там по своему желанию и выбору в свободные дни.

Вся работа выездных бригад в мелочах была так хорошо и четко организована и находилась под постоянным контролем и самого Пучкова, и его старших врачей и статистического отделения станции. Туда, в статистическое отделение, к заведующему врачу возвращались из всех больниц наши листки-путевки на сдаваемых больных. Нами

* Т. Ю. Маркович – старший врач Центральной станции скорой помощи.

ставился диагноз – повод для госпитализации, отмечалась оказанная помощь и особенности данного случая. Больницы делали отметки об окончательном диагнозе и исходе. Все эти листки сортировались по врачам и анализировалась работа каждого. Совпадения диагнозов полные, предположительные и оправдавшиеся, несовпадающие частично и случаи совершенно не имеющие ничего общего с окончательным диагнозом стационара – все это учитывалось, выводился процент совпадения. Становилась ясна медицинская квалификация каждого врача: либо выполнение им установок Станции, либо его невежество и халатность.

Все выездные врачи были обязаны знакомиться с этим анализом своей работы – это тонизировало их и заставляло соревноваться между собой. Конечно, в обстановке улицы, общественных мест и спешки нелегко было ставить точные диагнозы, но предположительные должны были быть обоснованы и согласованы с оказываемой помощью.

Кроме этого дотошного анализа-контроля время выполнения вызовов контролировалось записями в книгах каждой подстанции прикрепленными телефонистками, которые отмечали там время поступления вызова по ***03***, время вручения вызова ответственному по бригаде фельдшеру.

Начало моей работы на «Скорой»

В первое же мое дежурство вечером поступил вызов из милиции, повод – «лежит мужчина с окровавленной головой». Приехав на место, обнаруживаю, что он в состоянии опьянения. На месте происшествия собралась порядочная толпа зевак и, чтобы подойти поближе к лежащему человеку, мне пришлось перешагнуть через его ноги. В этот момент слышу громкий голос Пучкова: «Носилки!» Обернувшись, вижу Александра Сергеевича. Он выехал вслед за мной, чтобы посмотреть, как будет вести себя новый врач, да еще на глазах у толпы. По возвращении Пучков сделал мне несколько тактичных замечаний о том, как серьезно надо относиться к травмам головы, особенно, у пьяных, как надо вести себя, чтобы внушить окружающим доверие и уважение к медицинскому работнику. Он упрекнул меня за то, что я перешагнула через лежавшего, как будто это был неодушевленный предмет...

Прошло много лет, но я до сих пор ярко помню все принципиальные замечания и указания Александра Сергеевича – лейтмотив его понимания организации работы на «Скорой помощи». В дальнейшем я постоянно убеждалась в правильности и гуманности его установок, все больше проникалась и руководствовалась ими в своей работе.



Главным ответственным лицом за «Скорую» медицинскую помощь по всей Москве являлся старший врач оперативного отделения. Находился он на Центральной станции. Он решает все сложные вопросы, организует комплексную работу нескольких выездных бригад при массовых несчастных случаях, связывается с дежурным по городу (МВД), с пожарной службой и т. п. Он же координирует работу выездного персонала, консультирует врачей, оказывает им помощь в неясных или сложных случаях. Работает он сутками, в 4 смены, всегда со своими телефонистками и своими выездными бригадами, таким образом, хорошо знает каждого – его возможности и недостатки. Он имеет право и возможность в необходимых случаях обращаться непосредственно к дежурным по Моссовету и по Наркомздраву.

Каждое утро при смене бригад Александр Сергеевич проводил «пятиминутки»: включал по селекторной спецсвязи все семь подстанций, а также дежурного старшего врача и поочередно, одного за другим, выслушивал рапорты ответственных врачей каждой подстанции об обстоятельствах и особенностях прошедших суток, с медицинской и организационной стороны. Весь персонал, как уходящий, так и заступающий на дежурство, слушает эти рапорты и те вопросы, комментарии и указания, которые дает Пучков. Он учил нас замечать на вызовах все нарушения и несоблюдения правил, все обстоятельства, которые могли быть причиной возникновения конкретного случая, и он

учил нас непременно сообщать о них старшему врачу для принятия соответствующих мер через различные организации. *«Работа "Скорой" – зеркало жизни Москвы и надо уметь видеть в нем хорошее и дурное»*, – любил повторять он.

На «пятиминутках» он строго указывал врачам на их халатность и равнодушие, на их недоработки. Плохо приходилось тому врачу, который уходил с «пятиминутки», если Александр Сергеевич хотел задать ему какой-нибудь вопрос, если его работа и поведение внушали сомнения.

Он требовал от нас не просто оказывать квалифицированную медицинскую помощь, но гуманно, вдумчиво относиться к пострадавшим, к их родственникам и даже к случайным зрителям: «*Вы должны всегда оказывать помощь так, как если бы это был самый близкий, родной Вам человек. В любом случай Вы и Ваша работа – на виду. Вы представляете собой советскую власть*!..» Он требовал, чтобы мы вникали в обстоятельства, в которых оказывались сами пострадавшие и их близкие, чтобы мы приходили им на помощь и словом, и делом.

Помню такой случай во время войны: ребенок лет 12-ти висел на подножке трамвая и был сбит с нее баррикадным заграждением, суживающим проезд. У него получился открытый перелом голени. По дороге в больницу выяснилось, что мальчик приехал из пригорода получать продукты по карточкам и плачет не столько от боли, сколько от того, что дома остались двое малышей, которым он уже не привезет хлеба. Отец на фронте, мать в больнице, он старший. Я недоумевала: что тут можно сделать? Сообщила самому Александру Сергеевичу, откуда этот мальчик. Через несколько часов Пучков позвонил мне и сказал, что он связался по телефону с Мособлисполкомом – там

обещали временно поместить братьев мальчика в детское учреждение. За них можно было не беспокоиться. Он просил меня позвонить в больницу, куда отвезли пострадавшего, чтобы ему передали, что все устроено.

Другой случай был уже после окончания войны: у Краснохолмского моста грузовиком был сбит мальчик лет 5–6, перебегавший улицу. На месте мы обнаружили труп ребенка и застали его родителей-провинциалов с Урала. Они втроем возвращались с Украины, где провели отпуск у родных и в этот же день должны были ехать вечером домой, а днем решили походить по Москве. Они и сами плохо ориентировались в потоке уличного движения, а тут ребенок вырвался из рук матери. Мать «закаменела», а отец был в сильном возбуждении: плакал, метался, не знал, что делать – в Москве ни родных, ни знакомых, билеты на руках, а денег осталось только на питание в поезде. Сдав труп в морг и сообщив обстоятельства старшему врачу, мы, не возвращаясь на подстанцию, стали звонить дежурному по Наркомату, в ведении которого был завод, где работал техником отец ребенка. К счастью, директор этого завода был в Москве на совещании. Вскоре из Наркомата приехали сотрудники и забрали с собой обоих родителей, обещав нам, что все будет сделано как надо. Александр Сергеевич не только не упрекнул нас за задержку бригады, но на следующее утро на «пятиминутке» похвалил за чуткость и за оперативность в оказании помощи. Он привел этот случай в качестве примера, как мы должны работать.

Он требовал, чтобы все мы замечали на вызовах все, что стало причиной несчастных случаев, и, таким образом, собирал материал для активной и действенной их профилактики. Повсюду, и на вызовах, и проезжая по

улицам, мы обязаны были зорко смотреть, что творится: и замечать ямы, открытые и не огороженные канализационные колодцы, знать, где производятся на проезжих частях улиц работы, где отсутствуют сетки на лестничных клетках и т. п. Обо всех таких недомыслиях или нарушениях правил мы должны были немедленно сообщать в наше оперативное управление для передачи дежурному по городу. Нарушения правил пожарной безопасности или правил охраны труда на производствах, приведших к несчастному случаю, также должны были нами отмечаться.

Сам Пучков еще до начала войны добился, чтобы с трамваев были сняты задние буфера, на которых любили кататься мальчишки: срываясь, они часто попадали под идущий следом транспорт. Были сняты подножки трамваев и во всем городском наземном транспорте сделаны захлопывающиеся двери, чтобы исключить висение «гроздьями» на подножках и ступеньках «зайцев» или граждан, спешащих на работу в часы пик. Надо сказать, что борьба с «гроздьями» (иногда в виде кампаний) велась милицией и общественниками-дружинниками с помощью штрафов и внушений, не имела результатов и никак не воспитывала людей. А меры, предпринятые по настоянию А. С. Пучкова, были радикальными, вызывали у москвичей сначала изумление своей простотой, категоричностью, а потом были поняты и одобрены, т. к. это вело к сохранению здоровья, а иногда и жизни.

Пучков настоял, чтобы уксусная эссенция стала продаваться в трехгранных бутылках, иначе в быту уксус путали с другими жидкостями, и бывали случаи отравления. В 1941 году, когда участились голодные обмороки, Пучков выяснил, что основная их причина – потеря хлебных карточек в начале месяца. Начальник «Скорой помощи»

предложил выдавать карточки не на месяц, а по декадам. Простейшее нововведение спасло тогда многих.

По его же инициативе в метро были введены ограждения перед эскалаторами и в узких местах скопления людей. В захлопывающихся с силой дверцах вагонов метро были вставлены эластичные прокладки на месте смыкания, дабы не было травм пальцев рук. То же самое пропагандировалось им в проектно-строительных организациях – для детских учреждений (яслей, детских садов и школ). Ввиду нескольких случаев тяжелых травм школьников, любящих во время перемен кататься по перилам лестниц, Александром Сергеевичем были сделаны предложения набивать на перила металлические или деревянные шишки через малые промежутки, чтобы сделать невозможными эти опасные забавы. Такой профилактической работе по предупреждению несчастных случаев Александр Сергеевич придавал большое значение, обобщал все новые условия и причины травматизма и не уставал придумывать и проводить в жизнь мероприятия, устраняющие возможность возникновения травм.

«*Не проходите мимо, не будьте равнодушными, чувствуйте себя хозяевами! Помогайте предупреждать несчастья!*» – так учил нас Александр Сергеевич. Работа врачей «Скорой» при таких установках ее начальника позволяла быть в курсе оборотной стороны жизни большого города, что особенно глубоко и обширно проявлялось во время таких больших потрясений, каковым была война.

Годы войны

Война сильно осложнила работу «Скорой». Многие врачи и фельдшеры были взяты в армию, и на плечи оставшихся легла двойная и даже тройная нагрузка. Мы работали уже не по 7 суток в месяц, а по 14 и более. Дополнительные трудности принесло затемнение города. На фарах всех автомобилей, включая и наши, были установлены синие козырьки, резко уменьшившие видимость. В результате затемнения и общей нервозности стали гораздо чаще происходить столкновения транспорта и наезды на людей. На мой как-то заданный Александру Сергеевичу наивный вопрос о количестве пострадавших во время бомбежек Москвы он сказал мне, что жертв от налетов немецкой авиации было гораздо меньше, чем от самого затемнения (не назвав, конечно, ни той, ни другой цифры).

Всем работникам выездных бригад были выданы специальные пропуска МПВО (Московская противовоздушная оборона) для езды ночью и во время тревоги. Несмотря на опознавательные знаки машин «Скорой», многочисленные военные патрули часто нас задерживали и проверяли пропуска и удостоверения личности. Эта излишняя бдительность и шпиономания особенно резко проявлялись во время осадного положения Москвы, когда немцы были на ближайших подступах к городу. Патрулям постоянно

внушали, что могут быть воздушные десанты врага и в любое время могут появиться диверсанты, вот они и проявляли лишнее и не всегда обоснованное усердие.

Помню жуткий случай в декабре сорок первого года. Вызов на улицу Шаболовку – «огнестрельные ранения». Приезжаем и видим: два молодых солдата в обычной военной форме лежат неподвижно на снегу. Рядом военный патруль, милиция и машина военного коменданта города. Оказывается, патруль задержал этих двоих, прибывших в Москву из своей воинской части, но они просрочили время отпуска и, когда были остановлены патрулем, бросились бежать. Патрульные, конечно, стреляли – сначала по ногам, а затем выше. Оба были убиты наповал. Мы отвезли их в морг на Госпитальной площади. Это были первые наши солдаты, убитые войной, которых я увидела, и потом долго не могла избавиться от тяжелого впечатления.

С введением осадного положения и комендантского часа (20 октября 1941 года) движение на улицах затруднялось также и противотанковыми рвами, «ежами», баррикадами, так как готовились к уличным боям. Все это было снято и уничтожено только к весне, когда немцев отогнали далеко от Москвы.

«Воздушная тревога»

При объявлении «воздушной» тревоги оперативное управление «Скорой» переходило с третьего этажа в подвальное бомбоубежище под Институтом, где была оборудована параллельная телефонная установка ***03***. Благодаря этому работа ни на минуту не прерывалась. После отбоя все возвращались на старое место.

Весь выездной персонал и в центре, и на подстанциях оставался в своих обычных дежурных помещениях, бомбоубежищ у нас не было, да и к чему было их устраивать, когда именно во время «воздушных тревог» у нас было больше всего работы, и мы чувствовали себя в своих машинах даже спокойнее, когда двигались, хотя по крыше автомобиля иногда стучали мелкие осколки от зенитных снарядов. Почему врачам не были выданы металлические каски для работы во время тревог? Не знаю, но за всю войну никто из нашего персонала не был ни ранен, ни убит. Мы выезжали в простых фуражках и шапках с эмблемами, в шинелях, которые выделяли нас в толпе и облегчали взаимодействие с милиционерами, военными патрулями и населением.

На второй день войны, т. е. 23 июня, я дежурила при больнице им. Боткина (бывшей Солдатенковской). Недалеко от нее, на бывшем Ходынском поле находился первый московский аэродром. Там для защиты его от немецких

самолетов были установлены мощные морские зенитные орудия. Когда вечером в тот день была объявлена по радио «воздушная тревога» и завыли сирены, стало страшно. Но когда загрохотали эти зенитки, непривычный, необстрелянный дежурный персонал пришел в состояние неописуемого ужаса и растерянности: «Что будет? Что нам делать?» Я лично ощущала, что на меня надвигается какая-то злая сила и искренне думала, что пришел последний час и Москве, и моей жизни... Примерно то же ощущали и другие сотрудники.

И вот, в эти первые минуты ужаса вдруг «заговорил» репродуктор селекторной связи и раздался знакомый, спокойный голос Пучкова. Он сказал, что воздушная тревога объявляется всегда заранее для предупреждения населения, чтобы оно могло своевременно укрыться в бомбоубежище, что вражеские самолеты находятся еще только на подступах к Москве, что их отгоняют мощные средства МПВО и не дадут прорваться в сколько-нибудь больших количествах, а наша работа остается такой же, как была, в ней ничего не изменилось, мы должны спокойно работать, как всегда. Далее он сказал, что персонал подстанции безобразно беспечен: не соблюдает правила затемнения, за что он объявляет выговор нескольким заведующим подстанциями, что доктор Горшков на 4-й подстанции по небрежности порвал штору, а на 4-й подстанции врач Полякова разбила стеклянный абажур настольной лампы, что подобная небрежность будет строго наказываться, и он уже отдал указание в бухгалтерию вычесть с виновных столько-то рублей за штору и абажур.

Как все сразу встало на свои места! Если за такие пустяки собираются наказывать и вычитать деньги, значит, мы еще живем и работаем! А здесь и вызов поступил

(«Кто-то упал и разбился»). И очередная бригада выехала успокоенная, как обычно.

Это знание психологии испуганных людей Александр Сергеевич очень вовремя использовал для нашего успокоения и организованности. Его мысль о том, что каждый несет конкретную ответственность даже за мелкие нарушения порядка, была просто гениальна – по своей простоте и доступности восприятия. Прошло много лет с тех пор, а как ярок был тот переход от отчаяния и почти паники к деловой, спокойной уверенности в том, что ты не один, не брошен, ты под защитой надежной организации и должен тоже спокойно выполнять то, что тебе надлежит!..

Как потом оказалось, эта «воздушная тревога» была учебной. Проверялась готовность звеньев МПВО к действительным воздушным налетам немецкой авиации. Настоящие «тревоги» начались ровно через месяц, 23 июля, когда немцы продвинулись ближе к Москве. Налеты повторялись ежедневно – вечером и ночью, а иногда и днем, с чисто немецкой аккуратностью. Они очень дезорганизовывали жизнь города и изматывали население вынужденным сидением в бомбоубежищах, бессонницей и дежурствами в системе МПВО, на медицинских постах и в пожарных дружинах на крышах и во дворах для тушения «зажигалок». Надо сказать, что большого количества вражеских самолетов к Москве не прорывалось, их отгоняли зенитки и истребители еще на дальних подступах к столице.

Александр Сергеевич, как начальник скорой медицинской помощи города Москвы, был членом штаба МПВО и находился во время войны на прямом проводе со штабом. Вообще-то он всю войну жил на казарменном положении при центральной станции, в комнате рядом с оперативным управлением.

Москва в октябре 1941 года

Итак, война продолжалась. Немцы рвались к Москве, продвигаясь все ближе и ближе. Около 450 тысяч жителей было мобилизовано на строительство укреплений на линии обороны столицы. Сама Москва жила трудной, тревожной жизнью. Уже в летние месяцы была эвакуирована часть населения (старики, дети, просто семьи, имевшие родных в провинции, люди боявшиеся бомбежек). Эвакуировались многие правительственные учреждения. К октябрю улицы города приобрели необычный вид: баррикады, «ежи», противотанковые траншеи. Все окна – в крестообразно наклеенных полосках бумаги, чтобы не разлетались осколки от взрывной волны. Окна первых этажей магазинов и учреждений заложены мешками с песком. С объявлением «воздушной тревоги» и по вечерам в небо поднимались «колбасы» аэростатов. Мосты через Москву-реку были заминированы, как и некоторые важные объекты. Высокие здания, служащие ориентиром для самолетов, всячески раскрашивали. Водная поверхность реки местами была затянута зелеными сетками – для камуфляжа.

Станции метро приспособили под бомбоубежища. С шести часов вечера прекращалось всякое движение поездов и громадный поток москвичей вливался внутрь.

В первую очередь, до объявления «воздушной тревоги», в метро пускали женщин с детьми и стариков, а затем, после сирены – всех граждан. Люди шли с вещами – чемоданами, узелками, детскими колясками, одеялами и подушками – и устраивались на всю ночь не только на станциях, но и в самих туннелях, где снималось электрическое напряжение. На рельсы укладывали деревянные щиты и на них располагались люди. Здесь не было слышно завываний сирен, треска зениток, гула самолетов, можно было кое-как поспать, а утром идти на работу.

Однажды ночью немецкая бомба упала на мелко проложенный участок радиуса арбатского метро первой очереди, ближе к станции «Смоленская» и пробила его насквозь. От самой бомбы пострадавших было немного, так как она разорвалась над пустым туннелем, но воздушная волна вызвала панику. Все бросились к выходу, было много жертв. Я не дежурила и знаю об этом рассказ врачей и фельдшеров. В ту ночь там работало много машин «Скорой».

Временами слышен был по ночам орудийный гул со стороны Ленинградского шоссе, от Химок, там шли бои – на самых подступах к Москве. Ходили слухи, что отдельные немецкие мотоциклисты заскакивали совсем близко – будто бы их даже видели.

Многие наши женщины-врачи, имевшие детей, эвакуировались еще летом на восток. Мне предлагали вывезти сына Костю со школой-интернатом, но я не хотела с ним разлучаться. А вначале тоже думала уехать с Костей и мамой. Но когда я обратилась к Александру Сергеевичу за разрешением, он отказал, так как на «Скорой» остава-

лось очень мало врачей для обслуживания населения. Кроме того, он уверил меня, что Москву не сдадут, что принимаются очень энергичные меры защиты ее. Чтобы окончательно успокоить меня, он сказал, что «Скорая» будет работать до последнего момента боев за Москву и уедет вместе с войсками и в их составе. Он дал слово, что в этом случае погрузит весь свой персонал в сантранспорт МПВО, и я смогу взять с собой мать и сына. Надо только быть наготове и взять с собой немного еды и теплые вещи. Я настолько верила ему, что совершенно успокоилась и вернулась к работе.

Дни паники

16-го октября я дежурила на центральной станции. Поступил вызов из кино-театра «Уран» на Сретенке – «плохо с сердцем у женщины!» Там только что кончилось партийное собрание Дзержинского района, народ валил из зала навстречу нам. В фойе пожилая женщина, на вид интеллигентная, бьется в истерике, рыдает. Окружающие ее скупо отвечают на вопросы – «расстроилась...» Я как могла успокаивала ее, уговаривала, поила валерьянкой, а тем временем мои фельдшеры вели, как обычно, «глубокую разведку». Они, как всегда на вызовах, за моей спиной досконально выясняли всю подоплеку данного случая, а потом сообщали мне.

Когда женщина немного успокоилась и ушла домой, мне рассказали по дороге на обратном пути, что на партсобрании района был разговор о безнадежности обороны города, о скором, бесспорном занятии Москвы немцами – короче говоря, давался неофициальный совет-разрешение: «Спасайся, кто и как может!»

Ночью мы продолжали выезжать на вызовы, все было, казалось бы, как и раньше, без особых происшествий, но рано утром 17-го октября поступил вызов в здание НКВД

на Б. Лубянку, куда мы никогда не ездили, в тот самый громадный дом, мимо которого всегда все с опаской проходят, не задерживаясь. Поводом был – «приступ болей у мужчины».

Приезжаем. У входа с улицы встречает мужчина в форменной одежде. По его знаку часовой – солдат с автоматом – пропускает нас внутрь. Вестибюль пуст. Встречающий ведет нас по лестнице наверх, на 5-й этаж, говорит, что лифт не работает... На площадке каждого этажа стоят часовые с автоматами и молча пропускают нас – врача и двух фельдшеров в форменной одежде с ящиком-аптечкой. В длинных пустых коридорах людей не видно, в воздухе летают черные хлопья от сожженных бумаг, пахнет гарью. Наконец, провожатый подходит к обитой кожей двери и открывает ее. Входим сначала в тамбур, потом через другую такую же дверь – в большую светлую комнату.

По ней мечется со стонами майор НКВД, бледный, весь в холодном поту, с расширенными зрачками. На мой вопрос, что с ним, говорит, что это его обычный приступ мочекаменной болезни. Осматриваю его, даю приказание фельдшеру сделать инъекцию морфия с атропином, сама тщательно проверяю ампулы, из которых он набирает лекарство в шприц. В это время больной продолжает ругать свою санчасть: «Гады, мерзавцы такие-сякие, трам-та-рарам! Звонил, вызывал, а они еще ночью все удрали, никого нет, трам-та-ра-рам!»

Успокаиваю его, говорю, что ведь мы-то приехали быстро и сейчас сделаем все, что требуется, боль пройдет и он сможет поехать с нами в больницу, где ему сделают горячую ванну, и все успокоится, и не надо волноваться...

– Как, разве московские больницы еще работают и принимают больных?

Отвечаю спокойно и с гордостью: «Мы все на местах! И работаем как всегда!.. Вот ведь к Вам-то мы приехали от Склифосовского за несколько минут!» Молчит, смотрит в сторону. Отвозим его в приемный покой. Вежливо прощаемся.

В этот день, т. е. 17-го октября было много выездов, мы ездили почти без перерыва. На уличные случаи столкновений автомашин, к людям, бежавшим в панике и попадавшим под транспорт, и к тем, кому просто становилось очень плохо от волнения, от того, что они несли тяжелые чемоданы, узлы и детей. Были и просто истерические состояния, и тяжелые сердечные припадки, и даже смертельные случаи, когда сердце не выдерживало волнений.

Была я и в помещении Совнаркома, который располагался до войны в Верхних торговых рядах на Красной площади, – там в истерике и аффектированном состоянии находился один из ответственных сотрудников, который опоздал к моменту эвакуации своего управления и сильно негодовал, как это без него уехали... А в остальном мы работали как обычно: тяжелых больных везли в приемные отделения больниц, истериков отпаивали валерьянкой в больших дозах и оставляли их на месте, поручая заботам родных или сотрудников.

За день я лично побывала с бригадой в нескольких больницах – им. Боткина на Ленинградском проспекте, им. Русакова на Стромынке, в 1-й и 2-й градских на Б. Калужской и проч. В этот день (17 октября) мне привелось побывать и на Мясокомбинате им. Микояна (Остаповское шоссе). Подъезжаем к воротам, они открываются, пропуская нашу машину. Громадный заводской двор полон. Через толпу возбужденных рабочих нас проводят в контору. Она заперта изнутри, дверь открывается, пропуская нас, и

снова запирается. Там – трое мужчин средних лет в изорванной и окровавленной одежде и несколько молчаливых сотрудников. Осматриваю потерпевших. Их лица – в громадных сплошных кровоподтеках и ссадинах, заплывшие и опухшие глаза, из рассеченных губ и носов сочится кровь. Поднимаем рубашки – их спины представляют сплошной кровоподтек. Видимых переломов нет. Сознание ясное, самочувствие угнетенное. Что случилось? Эти трое – заводской «треугольник» (директор, секретарь парторганизации, завхоз) – еще ночью нагрузили грузовик окороками, колбасами, тушами свиней и хотели уехать, захватив и кассу завода. Рабочие остановили их в пути, вернули на завод и избили. «Били окороками, тушами, ничего не жалели, до полного своего удовлетворения...» Когда мы вели этих троих через двор к машине, люди расступались, освобождая проход, и издевались над ними: хохотали, улюлюкали, свистели... Общее настроение рабочих было более или менее миролюбивым, удовлетворенным.

Оказывается, в эту ночь и утро такое же происходило на многих заводах, предприятиях, учреждениях. Рядовые рабочие, возмущенные бегством и хищением, организовывались и устраивали засады по шоссе, ведущему из города на восток. Они задерживали машины, не пропуская никого без досмотра груза и документов. При обнаружении воровства грузовики задерживали, поворачивали их обратно, а беглецов или избивали, или отпускали пешком на все четыре стороны. Таких случаев было немало, и все они становились известными, особенно, если к избитым вызывалась «скорая».

Возвращаясь с вызовов, коллеги-врачи делились своими впечатлениями о том, что делалось в городе и больницах.

Типичная картина: за ночь или утро «треугольник» больницы тайно уезжал на машинах (главным образом, на грузовиках), захватив с собой казенные деньги, деньги больных, сданные в кассу на хранение, продукты, мануфактуру и белье, все, что было ценного, «чтобы не оставалось немцам»!.. Через несколько дней, когда было введено (с 20 октября 1941 года) осадное положение и приняты меры военной комендатурой – усилены патрули, введен комендантский час, поставлены контрольные пункты на дорогах, ведущих из Москвы, – все утихло.

Некоторые сбежавшие позднее стали возвращаться обратно, запасаясь различными «командировочными» справками и прочими ссылками на служебную необходимость их выезда из города в то время. Они хотели вернуться на свои прежние должности, но не всем это удалось. Так, директор Института им. Склифосовского, сбежал ночью 16-го октября не только с кассой, продуктами и ценными вещами больных, но и с оружием раненых военных, привезенных с подмосковного фронта. Он был немедленно заменен патологоанатомом проф. А. В. Русаковым, родным братом врача-революционера И.В.Русакова, в честь которого была названа улица и больница. Проф. А. В. Русаков оставался директором некоторое время.

«Эвакуировавшейся» еще ранее под каким-то предлогом проф. Гориневской тоже не удалось вернуться на свое прежнее месте заведующей травматологией института. У нее были какие-то большие связи в верхах. Рассказывали, что при отъезде ей был предоставлен целый товарный вагон, и она вывезла из Москвы свою мебель красного дерева и огромную библиотеку свою и своего отца – профессора санитарной гигиены. Хотя она заведовала и вела все травматологическое отделение Института, но оперировала

очень мало, лишь банальные случаи, а от более ответственных и сложных всегда отделывалась различными предлогами (болезнь, вызов куда-либо на совещание, на консультации, в верха и т. п.). Тогда ее в операционной заменял и оперировал доктор Ланда, специалист по спортивной травме.

С. С. Юдин не признавал такого искусственного разделения травмы от чистой хирургии, считая, что каждый хирург, если он с головой и хирургическим опытом, то справится с любой травмой, а вот «чистый» травматолог мало оперирующий, будет плох лицом к лицу с военно-полевой хирургией. Юдин, заведовавший чистой хирургией и до того бывший в умалении, с отъездом-«эвакуацией» Гориневской возглавил всю хирургию и травматологию. Он организовал фронтовую бригаду из своих операционных сотрудников, сестер, наркотизаторов, ассистентов, рентгенолога при передвижном аппарате, техников-гипсовальщиков и т. д. и много ездил на различные фронты, в госпитали, где практически учил мобилизованных хирургов своим установкам в оценке военных ранений и лечении их однообразно хирургическими методами, активно и радикально.

Из московских больниц только в одной Больнице хирургии и травматологии детского возраста им. Тимирязева (Б. Полянка, 20) было иначе. Ее директор, доктор Дамье, ни сам не сбежал, но и не допустил бегства «треугольника», о чем с гордостью за него и за свою больницу сообщила нам дежурная санитарка приемного покоя, когда мы туда приехали с больным ребенком. Она сказала, что почти все врачи взяты в армию, и их заведующий доктор Дамье просто не выходит из больницы, что сестры-еврейки все сбежали, а русские сестры и санитарки остались при

больных детях. Этого хирурга Н. Е. Дамье я не раз видела раньше и слушала его доклады для городских врачей неотложной и скорой помощи об особенностях детской травмы и течения острого аппендицита у детей. Это был высококультурный и принципиальный человек, врач-гуманист с большим опытом и эрудицией.

«Командированные возвращенцы» часто устраивались на других теплых местах и первыми получали медали «За оборону Москвы» по спискам Наркомздрава. Александр Сергеевич, который ни на минуту не выпускал из рук дело оказания скорой медицинской помощи населению военной осажденной Москвы, не получил этой медали по первому списку. Мы, его сотрудники, были этим очень возмущены и обсуждали, как это могло получиться и кто в этом виноват. А дело оказалось очень простым и скоро стало известно во всех подробностях.

В день паники, т. е. 17 октября, нарком здравоохранения СССР приказал Пучкову подать весь транспорт «Скорой» к зданию министерства для вывоза «ценностей архива» и... сотрудников. Александр Сергеевич категорически отказался: «Я нахожусь не в Вашем подчинении, а в ведении ПВО города Москвы и транспорт Вам не дам!..» Обозленный нарком и не включил Пучкова в свой список награждаемых. Александр Сергеевич и его сотрудники получили полагающиеся им медали «За оборону Москвы» только по представлению ПВО, позднее. Таков анекдот!.. Тогда и мне была вручена медаль № 0099903.

Работники здравоохранения, которые во время паники вели себя недостойно, запятнали себя, начали распускать слушки и нашептывать, что Пучков «ждал немцев», готовился служить им со своей «Скорой» и надеялся получить портфель министра здравоохранения в новом правитель-

стве, подчиненном немцам. Это говорили, вернее, нашептывали его недоброжелатели, которые еще не знали, слетит ли он или еще возвысится. Но Александра Сергеевича хорошо знали по самоотверженному труду, особенно в тяжелые военные годы, и в обиду не дали.

* * *

В конце октября и в ноябре из районов Замоскворечья стали поступать на «Скорую» один за другим вызовы: «Отравление», «Умирает!» Все заболевшие, пока они были живы и могли отвечать на вопросы врачей, сознавались, что выпили спирт, купленный на Даниловском рынке у старухи, и описывали ее вид и одежду. В то время на спирт или водку можно было выменять все, что угодно, особенно у военных или шоферов, проезжавших через Москву. За поллитровку – 400–500 г масла или сала. По сигналам «Скорой», этими случаями повторяющихся отравлений занялась прокуратура, НКВД и милиция. На Даниловский рынок были брошены сотрудники в штатском, и старуха вскоре была задержана с поличным. Она созналась, что продавала спирт, принесенный ее мужем из лаборатории. А что это метиловый спирт, который является смертельным ядом, они с мужем не знали. Муж ее работал сторожем в одном из институтов на Б. Калужской и в дни паники принес домой несколько больших бутылей «со спиртом», найденных среди брошенных на произвол судьбы химических реактивов.

Были еще массовые отравления антифризом, главным образом, шоферов и солдат (наступала слепота и смерть). Вспоминаю один такой вызов в воинское соединение.

Солдат-шофер автороты отлил антифриза и «угостил» товарищей – в результате мы застали несколько трупов и увезли в госпиталь двух солдат в очень тяжелом состоянии.

Первая военная зима

В декабре 1941 года, когда началось массированное наступление наших войск под Москвой, воздушные налеты прекратились – немцам было не до нас, их отогнали на 250–300 километров. Хотя прекратились «воздушные тревоги», но положение москвичей оставалось тяжелым – отопление почти всюду не действовало из-за отсутствия топлива, водопровод замерз, а там, где было центральное отопление, поддерживалась температура чуть выше нуля, чтобы только не замерзли батареи и трубы. Снабжение продуктами по карточкам было минимальным, кроме хлеба почти ничего не выдавалось или выдавалось с большим опозданием. Больше всего люди страдали от холода (морозы были до 30° и ниже), ставили в комнатах маленькие железные печурки, выводя трубы к окнам, ютились в кухнях у дровяных плит, топили их кто чем: мебелью, газетами, книгами. Газа в Москве тогда не было, его провели из Саратова в послевоенные годы. Городские бани не работали, лишь весной, в марте-апреле их затопили и москвичи смогли помыться. В дома, где еще кое-как действо-

вало отопление и водопровод, сселяли жителей из других полуопустевших квартир: многие москвичи эвакуировались, многие были взяты в армию, мобилизованы на трудфронт для заготовки топлива.

Днем жители в квартирах не снимали с себя верхней одежды и валенок (если они были) или самодельных ватных чулок с галошами. На ночь ложились в постели тоже в верхней одежде по два-три человека и наваливали на себя все, что было теплого, вплоть до тюфяков. Если не было возможности обогреться железными печурками («буржуйками» первых лет революции), то жгли, что попало, – просто на полу в тазах или корытах. Нередки были случаи тяжелых отравлений угарным газом, даже смертельных. Помню такой случай в доме на Варшавском шоссе: на кровати два трупа старика и старухи, и погасший костер из бумаг и щепок на железном листе на полу рядом с ними.

Вообще в эту тяжелую пору – зиму 1941–42 гг. мне пришлось увидеть много поучительного и интересного, видеть обнаженные поступки многих людей, до того вполне обычных и приличных с виду. Кроме выездов в очаги поражения и на улицы приходилось много ездить на квартиры. Возросла вшивость – люди месяцами не мылись, не меняли белья, спали не раздеваясь. Цена за кусок хозяйственного мыла доходила до 150–200 рублей на рынке из-под полы.

К концу первой военной зимы мы часто подбирали на улицах упавших от слабости, истощенных стариков с диагнозом «БО» – безбелковый отек. Их одежда буквально кишела вшами, приходилось ставить рядом с ними носилки, самого лежащего накрывать простыней, перекатывать его на носилки и завязывать концы простыни узлами у головы

и ног, чтобы не дать насекомым расползаться. Сдавши такого человека в приемное отделение, мы тут же дезинфицировали машину внутри и сами тщательно осматривали свою одежду, где тоже случалось находить насекомых.

К весне, когда стаял снег на полях и огородах Подмосковья, люди стали копаться в земле и выковыривать замерзшие неубранные с осени овощи: картофель, морковь, мелкие кочешки капусты на срезанных высоко кочерыжках. Когда появились крапива, щавель и другие годные для еды травы, их тоже собирали, часто не замечая мин, поставленных нашими саперами против неприятельских танков. Мне вспоминается вызов в Верхние Котлы. Там в большом овраге с отлогими склонами было минное поле, еще не разминированное саперами. Снег уже стаял, и одна из мин обнажилась и привлекла внимание четырех мальчишек-подростков. Они стали ее расковыривать, мина взорвалась, образовалась яма диаметром не менее трех метров. Мальчиков всех не только убило, но и части их тел раскидало на большое расстояние. Голов не нашли совсем, вся одежда сгорела и лишь на одном обгорелом туловище сохранился кожаный поясок и под ним полоска хлопчатобумажной рубашки в белую полосочку. Овраг был оцеплен, собралась громадная толпа жителей из близлежащих домов, были вызваны саперы. Так как мы были здесь совершенно бесполезны, то милиции предстояло после разминирования собрать и увезти куски тел в морг, а сами мы уехали с тяжелым впечатлением от виденного.

Зимой, когда шли бои на подступах к Москве, раненых оттуда вывозили зачастую прямо в московские госпитали и даже городские больницы. Однажды, приехав к каким-то больным в Комгоспиталь в Лефортово, мы увидели целый

обоз одноконных саней-розвальней с установленными на них фанерными верхами – ящиками с дверцами сзади, а впереди с маленькими печурками для обогрева раненых теплым воздухом, идущим от них по трубам внутрь. В таких самодельных повозках помещалось пара носилок с лежачими ранеными. Зима была морозной и снежной, зачастую автомашины не могли проходить по лесу или полю, а на таких санях раненому было и тепло, и спокойно – не так чувствовались толчки и ухабы.

Злоупотребление личным оружием

Во второй половине войны, после перелома в военных действиях, в Москве стало появляться много военных – или в отпуске, после ранений, или в командировках из своих частей. У офицеров было личное оружие и было зафиксировано много случаев злоупотребления им. Привыкнув во фронтовых условиях мало ценить чужую жизнь и не обладая человеческим достоинством, люди часто считали себя героями, которым теперь все дозволено. Возвращавшиеся с фронта мужья порой стреляли в неверных жен, в их любовников, иногда и в себя. Я вспоминаю несколько таких случаев, на которые выезжала лично.

На Триумфальной площади, у остановки автобусов около теперешнего Зала им. Чайковского (его тогда не было) стояла очередь. Пьяный офицер лез нахально без очереди. Когда его стали стыдить и говорить, что его «храбрость» неуместна, он выхватил пистолет и выстрелом ранил какого-то мужчину. Раненого гражданина взяли мы, а стрелявшего офицера забрал комендантский патруль, обезоружил его и отвез в военную комендатуру.

Другой случай произошел в вестибюле станции метро «Библиотека им. Ленина». Был чудесный весенний день,

было даже жарко. В вестибюле на прилавке молодая продавщица торговала ситро в разлив. Очередь была небольшая, но офицер в состоянии опьянения лез без очереди, граждане возмущались и стыдили его. Продавщица отказалась выполнить его требование – налить ему вне очереди. Тогда он выхватил револьвер и в упор выстрелил ей в живот. Мы на носилках отвезли ее в больницу, на операции выяснилось, что был ранен тонкий кишечник в нескольких местах. Она выжила и поправилась.

Расскажу еще один случай, не вполне обычный. Вызов на квартиру: «огнестрельное ранение». Несмотря на то, что о происшествиях дежурному по городу сообщалось одновременно с нами, выездная бригада попадала на место раньше, чем наряд из военной комендатуры. Так случилось и здесь. Приехав на место, обнаружили на кухне труп молодого парня в штатском с простреленной головой. Плачущая старуха рассказала, что ее дочь в начале войны получила похоронную справку на мужа. Осталась с двумя детьми. Жили трудно, так как пенсию за отца дети получали маленькую. Года через полтора она познакомилась с молодым парнем, демобилизованным в чистую по ранению, который потерял всех родных. Несмотря на то, что он был на несколько лет ее моложе, они сошлись, дети его полюбили, он к ним относился очень хорошо, и она была спокойна и счастлива. Прошло около года и вдруг... явился живой и здоровый муж. Из-за детей женщина решила вернуться к мужу. А тот другой сильно переживал, что оказался лишним, на него не действовали никакие уговоры. Сегодня он пришел к своей «теще» с поллитровкой водки, они ее выпили, он плакал и жаловался на судьбу, а потом вынул трофейный револьвер и выстрелил в себя. Подобные трагедии были не редкость.

Вот еще одна драматическая история. Вызов в Нагатино: «огнестрельное ранение». Одноэтажный деревянный барак, коридорная система, в одной из неприглядных комнаток – старая женщина с огнестрельной раной в груди. С трудом, задыхаясь, с помощью дочери, она рассказывает. С фронта вернулся из-за ранения муж дочери, имея с собой трофейный пистолет. По-видимому, соседи что-то наговорили ему на жену, он очень ревновал и сегодня, напившись пьяным, стал гоняться за ней. Жена убежала и заперлась с матерью в комнате на крючок. Так как они ему не отпирали, он стал стрелять через дверь и, таким образом, ранил тещу. Испугавшись содеянного, он убежал, а соседи вызвали «скорую». Милиции там еще не было, я записала этот рассказ, имя и фамилию зятя. Старуху мы отвезли в больницу, где она вскоре скончалась.

В тот же день, уже в сумерки, нас вызвали на медпункт фармацевтического завода им. Карпова на Варшавском шоссе. Он находился не на территории завода, а перед его воротами в небольшом кирпичном одноэтажном здании. Там круглосуточно дежурит одна медсестра, ночью нет ни сторожа, ни санитарки. По словам медсестры, под вечер несколько опьяневших мужчин привели к ней тоже пьяного товарища с множественными, но поверхностными кожными ранами рук и лица – очевидно, последствия пьяной драки. Она перевязала его, и он уснул в кабинете на топчане. Товарищи все ушли, медсестра боялась его пробуждения и скандала и поэтому вызвала «скорую», чтобы от него избавиться.

Когда мы стали записывать его имя и фамилию, выяснилось, что перед нами спит тот самый зять, который днем стрелял и ранил старуху. Мы не знали, есть ли у него оружие, но все же решили взять его и сдать в ближайшее

отделение милиции. Наш пожилой шофер очень боялся, что пьяный будет в нас стрелять, но два молодых фельдшера с юношеским задором решили, что они с ним справятся. Не разбудив спящего, они переложили его на носилки, вынесли и вдвинули носилки в машину. Он и не пошевелился, а оба фельдшера приготовились прижать его к носилкам в случае пробуждения. Когда мы подъехали к отделению милиции на Варшавском шоссе, я вышла первая и заявила дежурному, что у нас в машине находится человек, который днем стрелял и ранил женщину в Нагатине. Мгновенно несколько милиционеров во главе с ответственным дежурным выскочили на улицу, окружили машину, одновременно открыли боковую дверь и люк в задней стенке. Они навалились на него, ощупывая, нет ли оружия (его не оказалось), и вытащили из машины. Я написала нашу обычную «сопроводиловку», пометив в ней и опьянение, и поверхностные кожные раны, а на словах повторила рассказ старухи о стрельбе. На «пятиминутке» я доложила об этих двух вызовах. Некоторые мои товарищи упрекнули меня, заметив, что надо было просто вызвать милицию на медпункт, а не задерживать самим убийцу.

Такие случаи, все повторявшиеся, которые «Скорая» немедленно доводила до сведения военного коменданта, привели к тому, что вскоре, еще до окончания войны, был отдан приказ: всем офицерам без исключения сдать личное оружие. Его выдавали только на период несения службы. Было предписано также сдать и трофейные пистолеты, которые многие привозили с фронта.

Инциденты в связи с применением оружия случались и после войны. Иногда и наша работа была небезопасной. Однажды в оперативную комнату «Скорой» ворвался

пьяный офицер с требованием немедленно госпитализировать «умирающую» жену. Перед этим к ней уже ездила бригада и был поставлен диагноз – обострение хронического гинекологического заболевания с умеренной температурой и без какой бы то ни было угрозы для жизни. Больная была оставлена дома для обычного лечения. Муж, явившись самолично, стал требовать от старшего врача, доктора Марковича, немедленной госпитализации жены и угрожать оружием. На громкие крики из соседней комнаты вышел Александр Сергеевич и, увидев оружие, направленное на Марковича, тут же заслонил врача собою. Потом Пучков увел офицера в свой кабинет «для разговора».

История эта имела печальное продолжение, о чем будет рассказано в одной из следующих глав.

Последствия амнистий

Первая амнистия после окончания войны вызвала в зиму 1945–1946 гг. громадный наплыв в Москву отпущенных из лагерей, исключительно уголовников. Все они ехали домой через Москву и стремились чего-либо в ней добиться или просто пограбить жителей. Участились квартирные кражи и нападения на прохожих. Между напуганными москвичами ходили слухи о том, что происходило на пути следования амнистированных по сибирской магистрали. Им при отъезде выдавался проездной билет до места жительства, а денег и продуктов на дорогу так мало, что этого было совершенно не достаточно даже для лиц, не собиравшихся заниматься экспроприациями. А уголовникам, прошедшим в лагерях высшую школу презрения к человеческой личности, к жизни и смерти, было логично и легко предаваться грабежам и насилиям над едущими в поездах и над жителями вдоль сибирского пути.

На московских вокзалах скапливалось множество людей, которые днем рыскали по городу, а на ночь возвращались на вокзалы, совершенно не торопясь покинуть столицу. На всех вокзалах круглосуточно работали врачебные медпункты, к тяжелым больным вызывали и нас. То курьезное, что происходило в городе, тоже не миновало нас.

Вспоминаю такой случай. Моя бригада была вызвана в приемную председателя Верховного Совета М. И. Калинина, что напротив Манежа. В большом зале ожидания полно народу, съехавшегося со всех сторон страны со своими бедами, прошениями, жалобами. Предварительно всех принимают инспекторы, которые выясняют суть дела, а потом направляют людей по принадлежности по разным ведомствам и учреждениям. Очень небольшую часть просителей отбирают на прием к самому Калинину.

Когда мы приехали, нас встретил один из инспекторов и рассказал, что к нему обратился гражданин с непомерными требованиями о помощи, причем все это высказывалось в агрессивном тоне, с угрозами и упреками. Закончилось же вот чем: этот гражданин, заявив, что ему не дают сказать ни слова, затыкают рот и т. д., схватил молоток и прибил свой язык к фанерному чемодану...

Действительно, на скамейке в приемной сидел здоровенный молодой мужчина, держа на коленях чемодан, на котором лежал его длинный язык с торчащим в нем гвоздем. Рядом суетилась молодая женщина, его сожительница, она громко кричала, взывала к жалости и просила о помощи: «Вот до чего довели!» Кругом ахала и возмущалась толпа. Он же не давал возможности хорошо осмотреть свой язык. Таких необычных по поведению субъектов нам полагалось отвозить в специальный психоприемник в Институтском переулке, рядом с театром Красной Армии. Пришлось взять его с чемоданом и со спутницей. Когда к нам вышел дежурный врач психоприемника, более, чем мы, искушенный в подобных случаях, то он быстрым и неожиданным движением схватил язык за кончик и снял его с гвоздя. Оказалось, что в языке имеется старая дырка с омозоленными краями и мужчина пользуется ею, наде-

вая язык на заранее приготовленный гвоздь без шляпки, для воздействия на тех, к кому обращается! А молоток был только для усиления эффекта!

Мы уехали, смущенные своей недогадливостью, а психиатр выгнал эту пару из приемного покоя, описав, конечно, случай в журнале для сведения других врачей отделения. Когда через день я снова пришла на дежурство, один из врачей рассказал о продолжении истории. Тот самый тип с помощницей явился в приемную ЦК комсомола (угол пр. Серова и Маросейки) и там снова разыграл комедию с языком, чемоданом и гвоздем. Но так как врач «Скорой» уже знал о том, что было накануне, он тут же на месте разоблачил симулянта. Начальник охраны, капитан МВД обещал немедленно вышибить обоих мошенников из Москвы, угрожая дать новый срок за такое поведение.

О подобном же случае рассказал нам один старый врач, выезжавший в детский сквер на Красносельской улице. Туда пришел мужчина из амнистированных уголовников, недовольный отказом в приеме в Сокольническом райисполкоме. Как «амнистированный и пострадавший невинно» он требовал непомерных льгот для себя, как «амнистированного пострадавшего невинно»: жилплощади в Москве, денежного возмещения убытков, рабочего места и т. п., не имея никаких на это прав. Желая привлечь к себе внимание, он спустил штаны, сел верхом на лежавшее в сквере большое дерево и с помощью молотка и большого гвоздя прибил к бревну свою мошонку по средней сухожильной перегородке. Все это сопровождалось громкими разглагольствованиями о несправедливости властей. Он требовал, чтобы к нему сюда немедленно вызвали председателя райисполкома. Публика, привлеченная его криками, собралась в изрядном количестве. Явилась милиция и... вызвала, как это бывало во всех затруднительных случаях,

как это бывало во всех затруднительных случаях, «скорую». Гвоздь выдернули, а человека отправили в психоприемник на экспертизу. Очень жаль, что такие случаи не наказывались тут же построже.

В результате наплыва в Москву амнистированных и жителей разоренных войной местностей в городе сильно развилось нищенство. Милиция забирала бродяг в специальные приемники. Против москворецкого универмага, там, где теперь выстроено большое здание и находится поликлиника им. Семашко, в те годы стояли небольшие одноэтажные домики спецприемника. Привезенных туда нищих, бездомных и людей без документов регистрировали, держали по несколько дней, пока собиралась достаточная партия, и под небольшой охраной сажали в поезда, отправляя по месту жительства. Многие, наиболее ловкие и упорные, сбегали в дороге и возвращались обратно, не доехав до родных мест.

Спецприемник этот вмещал одновременно до 200–500 человек, на них получали в какой-то столовой горячую пищу и хлеб. Систематически людей подвергали санитарной обработке от вшивости. Днем часть их расходилась «на работу» по городу, но к вечеру все собирались в тепло, под крышу. Днем там дежурил милицейский фельдшер, а «скорую» почти ежедневно вызывали к кому-нибудь из задержанных – или к действительно больным, или к симулянтам.

Ночной спецприемник являл собой ужасное зрелище: в комнатах, разделенных не до потолка фанерными перегородками, в коридорах, на голом полу лежали вдоль и поперек спящие люди, мужчины и женщины. Приходилось шагать через ноги и кое-как пробираться к больным. Невольно вспоминались рисунки ада художника Доре.

Однажды ночью я была вызвана на Калужскую площадь по поводу «судорожного припадка». На месте выяснилось, что милиционер вез с вокзала в троллейбусе задержанного в поезде за нищенство гражданина средних лет, оборванного и грязного. В дороге, желая вызвать сочувствие пассажиров и освободиться от своего провожатого, задержанный симулировал эпилептический припадок. Троллейбус был остановлен, публика разошлась, вызвали «скорую».

Молодой и неопытный железнодорожный милиционер рассказал нам, что этого гражданина он хорошо знает. Он – подмосковный житель, неоднократно снимался с поездов за попрошайничество в вагонах, женат, имеет дом и даже корову. Но так как жена не дает ему денег на водку, он систематически «подрабатывает» на выпивку в поездах.

Спецприемник находился рядом, я решила отвезти туда симулянта, тем более, что он мог снова повторить свой припадок. Приехав и объяснив дежурному, в чем дело, я написала на нашем обычном бланке, что тут имеет место факт симуляции, чтобы дежурные не поддавались на новые его проделки. Все было нормально, мои фельдшеры уже пошли к машине, они хотели спать.

Надо сказать, что вообще-то не полагалось на выезде разбиваться и оставлять врача (тем более женщину) одну. Но это были не мои постоянные лихие разведчики, с которыми я работала много лет, а случайные лица, недостаточно дисциплинированные.

Я тоже собиралась уходить, когда в дежурное помещение из внутренних комнат вошел майор МВД в состоянии опьянения и грубо заявил мне, что он никого не примет, и чтобы я забирала этого нищего симулянта, куда хочу. Молодой дежурный лейтенантик был подавлен своим начальником и не знал, что делать.

Майор этот оказался заведующим спецприемником, про него наши фельдшера говорили, что он постоянно пьян и, видимо, хорошо наживается на питании задержанных, оставляя в списках и тех, кто уже отправлен в места своего проживания. До сих пор меня это не касалось, и я ничем таким не интересовалась, считая, что там над ним есть начальство и контроль, и пусть они сами этим и занимаются. Но, когда я решительно отказалась забрать с собой привезенного нищего, майор начал на меня кричать, обращаясь на «ты» и даже схватил за отвороты шинели и стал трясти, тут я поняла, что надо обратиться к старшему врачу за помощью. Я сказала, что хочу позвонить старшему дежурному врачу и спросить, куда мне девать этого нищенствующего, майор не помешал мне.

Я набрала ***03***. Дежурил доктор Маркович, я сказала ему, что нахожусь одна в спецприемнике, и меня физически не выпускает начальник его – майор. Танк Юльевич Маркович моментально понял, в чем дело и сообщил обо всем дежурному по городу. Не успела я положить трубку, как раздался телефонный звонок из комендатуры. Майору приказали немедленно выпустить меня. Тот повиновался, и я ушла. Вернувшись в машину к фельдшерам, я сильно стыдила их за то, что они оставили меня одну, и выговаривала за недисциплинированность.

Когда мы вернулись на подстанцию, мне велели сразу же подать подробный рапорт о происшествии. На «пятиминутке» Александр Сергеевич заставил меня повторить свой рассказ о ночном происшествии и сделал строгое предупреждение фельдшерам за нарушение правил: на выездах нам не полагалось «разлучаться», тем более оставлять женщину-врача одну. В последующем разговоре с Александром Сергеевичем в его кабинете я рассказала подробно

о состоянии дел в приемнике, сравнила ночную картину – с Дантовым адом и просила его самого съездить туда ночью лично и посмотреть. Я говорила ему о совершенно невозможном и позорном для столицы положении находящихся там людей. По-видимому, Пучков вскоре посетил спецприемник в ночное время, а затем говорил об этом с начальником Управления МВД Москвы и области, генералом Журавлевым, в ведении которого находился этот спецприемник.

Через пару дней, на моем следующем дежурстве, секретарь Пучкова сообщила мне по телефону, что мне приготовлен пропуск к генералу Журавлеву, и я должна явиться в его Управление. Я поехала к нему тут же городским транспортом, в своей форме, захватив свое служебное удостоверение. В комнате секретаря уже сидел тот самый майор – трезвый, чисто выбритый и подтянутый.

Через несколько минут генерал принял нас в своем огромном пустом кабинете, посадив у своего стола друг против друга. Он предложил майору изложить это происшествие. Тот стал всячески вывертываться и лгать, обвиняя меня в неправильном поведении. Когда он закончил, Журавлев обратился ко мне:

– Так ли это было, доктор?

– Совсем не так, – отвечала я и рассказала, все, как оно было.

Майор порывался вставить слово, но генерал оборвал его и «разрешил идти». Когда мы остались одни, генерал обратился ко мне и сказал: «Доктор, еще много у нас есть этого самого хамства, я должен перед Вами извиниться за своего подчиненного». Ободренная его словами, я сказала, что за много лет работы врачом и на «скорой» это был первый раз, когда так со мной обращался милицейский работник – обычно мы работаем дружно рука об руку.

Потом я рассказала, какая позорная обстановка в спецприемнике и о постоянном пьянстве майора, замеченном не только мной, но всем нашим выездным персоналом. Генерал внимательно выслушал меня, задал несколько вопросов и сказал, что все это будет проверено и приняты соответствующие меры. Ушла я от него удовлетворенная. Через несколько дней нам на подстанции стало известно, что майор снят с работы, разжалован и отдан под суд, а спецприемник раскассирован, дети и женщины переведены куда-то в Текстильщики, а здесь этот приемник закрыт совсем. Наши постоянные выезды туда прекратились.

Огород в Останкино

В первую военную зиму Москву овощами не снабжали. Правда, иногда по карточкам выдавали полугнилую картошку, но в таком малом количестве, что ее как бы и не было. Когда отменили осадное положение (к весне 1942 г.), многие москвичи стали ездить поездами или автомашинами в Подмосковье менять домашние вещи (одежду, обувь) на картошку и другие овощи. Эти «самозаготовки» были очень тяжелы физически и давали ничтожные результаты. Сельские жители всегда завидовали горожанам, которых снабжали белым хлебом и пайками, были очень капризны и разборчивы при этих менах, брали, что получше, старались всячески прижать, а деревенские ребятишки бежали за нами следом и дразнили.

К весне 1942 года оголодавшие москвичи стали думать об огородах. А. С. Пучков выхлопотал для сотрудников «Скорой помощи» земельный участок в Останкино около пруда, образовавшегося в результате запруды оврага. Там когда-то, еще в царское время, стояли конюшни какого-то хозяина, ликвидированные после революции. Земля заросла дерном, с края участка стояло несколько деревянных, ветхих бараков, совершенно разрушенных и растащенных на отопление в течение первой военной зимы. Вместо них остались лишь груды кирпича от фундамента и куски толя,

покрывавшего когда-то крыши, немного гнилых досок и бревнышек. Желающих иметь огород оказалось немного, человек тридцать. Большинство сотрудников-горожан отнеслись к затее недоверчиво и прозвали нас «Артель “Напрасный труд”». Сорганизовалась огородная комиссия в составе 4-х человек: председатель – один из старейших врачей, доктор Морозов; диспетчер по дежурствам охраны, секретарь Пучкова, Антонина Сергеевна Жданова; секретарь-инструктор – выездной врач Веселовская и член комиссии – телефонистка Мерхелевич.

Я имела некоторый опыт огородничания и в Повалищеве при школе и, главном образом, в Татариновке, в семье дяди Степана Борисовича.

Первым делом огородили колючей проволокой три стороны участка, четвертой, самой длинной, служил широкий пруд. Потом нарезали «наделы». На работника станции давалось 100 кв. м., а на каждого иждивенца – по 25 кв. м. Я получила 150 кв. м. на себя, маму и сына, Костю. Помню, как при составлении списков Александр Сергеевич со смущением говорил мне, как ему неудобно и неприятно, что его участок оказался самый большой. Но ведь у него было четыре иждивенца: мать и трое малолетних племянников от брата-фронтовика, и все они жили вместе. Помню, как мне пришлось уверять его, что коллектив все это знает и нисколько не претендует. Наоборот, все ему благодарны за то, что он добился для коллектива такого хорошего участка в черте города, с хорошим трамвайным сообщением, с хорошей землей и наличием пруда для поливки.

Хотя земля была – заросшая дерном целина, но очень плодородная благодаря тому, что много лет естественно удобрялась конским навозом. При копке мы находили

много целых и сломанных подков и специальных подковных гвоздей. Желающим было предоставлено право разобрать фундамент и хлам на месте бывших бараков и, таким образом, присоединить еще кусочки земли сверх нормы. Этим занялись я и мои две соседки по участку – Мерхелевич и Жданова. Мы разбирали место под бараками, сносили прочь кирпичи, а куски толя, сухой штукатурки стаскивали на осоку и камыши на берегу пруда против своих участков. Потом на них надвинули много земли с бугристого берега своих участков, продвинувшись таким образом на 5–6 метров в сторону воды. Там было хорошо сажать капусту и помидоры, культуры, требующие много поливок. Наш героический труд Александр Сергеевич увенчал фразой: «Жданова и Веселовская – это два трактора».

На участке поставили будку и даже протянули к ней электричество. Будка служила пристанищем для лопат, грабель, ведер, леек, удобрений и пр. и для поочередно дежуривших сотрудников. В ней можно было спрятаться от дождя и разогреть еду на электроплитке. На стенах вывешивались списки дежурных, правила поведения, объявления огородной комиссии, различные советы огородникам. Все лето в свободные от работы дни мы ухаживали за посадками – поливали, пололи, подкармливали. С голубятни на чердаке дома, где жил Пучков (Петроверигский пер., д. 4), мы в рюкзаках на себе через весь город возили высохший птичий помет для удобрения.

Хотя урожай в первый год был небольшим из-за отсутствия опыта, но когда мы зимой на дежурствах ели свою вареную картошку, это служило хорошей агитацией, и на следующий год число огородников возросло, пришлось раскапывать землю участка дальше, в сторону дороги и



бывших бараков. Охрана урожая была поставлена очень хорошо. Мы наняли сторожа, которому дали два небольших крайних участка в противоположных концах и ввели строгие меры против воровства друг у друга. Был только один случай прегрешения. Один старый фельдшер сорвал кисть зеленых помидоров у соседа, был уличен и предупрежден, что отнимут его надел при повторном случае.

После окончания войны наш огород был оставлен, последний раз я занималась им летом 1946 года. В дальнейшем, с постройкой выставки-парка ВДНХ и жилищным строительством в этом районе, наш пруд был засыпан, место огорода заняли высокие коробки жилых домов. Ничто теперь не напоминает о нашем милом огороде, который так помог нам в тяжелые и голодные военные годы и сплотил в дружную семью коллектив огородников.

Забота о сотрудниках

Я часто вспоминаю, как добр и внимателен был А. С. Пучков к своим сотрудникам. *Человеческое* отношение. Несмотря на повышенную требовательность к персоналу (что касается качества работы) и неукоснительного выполнения всех установок, Александр Сергеевич проявлял большую чуткость к тяжелым обстоятельствам, в которых иногда оказывались отдельные сотрудники. В некоторых случаях он разрешал находить необычный выход из созданных войной положений.

Помню как-то ночью, при «воздушной тревоге», такую картину в оперативной комнате: на диванчике в углу валетиком спят нераздетые дети старшей телефонистки-диспетчера Полины Федоровны Темненко. Ей не с кем было дома оставить детей 2-х и 4-х лет, и Александр Сергеевич разрешил в виде исключения взять их с собой на работу.

Когда летом 1946 года у меня родился Саша, встал вопрос – как быть? Уйти с работы я не могла, оставлять его, трехмесячного, на сутки было не с кем. Я обратилась к Александру Сергеевичу, и он на несколько холодных месяцев перевел меня в отделение статистики к доктору Александру Михайловичу Нечаеву. Раз в неделю я приезжала с Сашей на руках и «аварийным запасом» для него

на центральную подстанцию и забирала полный рюкзак статистических карточек. Дома работала над ними с помощью мамы.

С наступлением тепла в марте 1947 года я вернулась на суточные дежурства на 1-й подстанции. При ней были небольшие ясли для грудных детей тех матерей, кто попадал внезапно в больницу с травмами или хирургическими заболеваниями. Состав детей был очень текучим, дети не обследованные, поэтому существовала подверженность внутренней инфекции. Но выхода не было. Пучков через Мосгорздравотдел добился для меня разрешения привозить Сашу в эти ясли на время моих суточных дежурств. Из его детской продуктовой карточки там вырезали талоны за эти дни, а я два раза в сутки ходила во время дежурства кормить его грудью. Через некоторое время Сашу устроили в районные ясли рядом с нашим домом, и тогда его забирал вечером домой отец.

За военные годы мы все очень оборвались, особенно «невыразимой» была обувь, да и платья женщин-врачей под белыми халатами были, строго говоря, неблагопристойными. Александр Сергеевич выхлопотал нам за наш счет по паре туфель и шерстяной коричневой материи, из которой в одном ателье сшили всем врачам костюмы одного фасона. Это совпало с празднованием в 1944 году 25-летнего юбилея Московской станции скорой помощи. На его торжественное заседание мы явились принаряженными.

* * *

У Александра Сергеевича заместителем по медицинской части был старший врач Танк Юльевич Маркович. Он был опытным врачом-терапевтом и гинекологом. С ним проходили мои основные дежурства. К нему я обра-

щалась в сложных случаях для получения совета или разрешения. Наша оперативная группа «Скорой», старший врач и телефонистки, помещались на центральной станции и не имела строгой охраны. На ночь в гараже оставался только сторож. Днем же, хотя и не полагалось входить в помещение оперативной группы посторонним, но при достаточном нахальстве это оказывалось вполне возможным.

Однажды (в 1950–51 гг.) в оперативную комнату явился пьяный офицер с требованием немедленно и обязательно госпитализировать его «умирающую» жену. Перед этим к ней уже ездила выездная бригада, и врач поставил диагноз обострения хронического гинекологического заболевания с умеренной температурой и без всяких перитональных явлений. Больная была оставлена дома для обычного лечения с возможностью госпитализации через центропункт, т. е. в порядке очередности. Врач с вызова позвонил доктору Марковичу и получил от него санкцию на оставление больной. Муж, явившись самолично и проникнув в оперативную комнату, стал требовать от Марковича немедленной госпитализации жены и угрожать оружием.

Услышав скандал, из соседней комнаты пришел Александр Сергеевич, чтобы узнать, в чем дело. Увидев оружие, направленное на доктора Марковича, Александр Сергеевич тут же заслонил его собою и приказал офицеру покинуть немедленно оперативную комнату. Все телефонистки сидели согнувшись за своими пультами, не отвечая на вызовы «*03*» и ожидая, что вот-вот начнется стрельба. Александр Сергеевич увел офицера «для разговора» в свой кабинет. Вскоре они вышли оттуда, и Александр Сергеевич распорядился послать машину без врача и перевезти женщину в одну из гинекологических больниц.

А Танк Юльевич очень переживал случившееся. Через несколько дней у него развился инфаркт миокарда, и он

скончался. Схоронили мы его на Крестовском кладбище, очень переживая эту потерю и жалея прекрасного врача и товарища. Похоронами на кладбище распоряжался один из старших врачей – А. Ф. Лингарт. Было много цветов – венками и букетами и большая корзина чудесных роз, которая привлекла всеобщее внимание. Когда гроб опустили в могилу, Лингарт приказал могильщикам поставить эту корзину на крышку гроба. Мы просто ахнули, когда на нее полетели первые комья земли, но Лингарт громко сказал, что так и надо, что это символ того, что мы потеряли.

Как-то после похорон, не помню, по какому поводу, я зашла в кабинет к Александру Сергеевичу. После делового разговора, он стал печально говорить, что потерял не просто хорошего сотрудника-врача, но верного товарища и друга: «Мне не с кем теперь поговорить, посоветоваться». Я тогда сказала, что мы были за его спиной под надежной защитой.

Тогда же Александр Сергеевич сказал мне: «Вы работаете хорошо. Я люблю слушать, как Вы выступаете на пятиминутках или собраниях со своими замечаниями и дельными предложениями...» Эти его слова я всегда помню – они драгоценная награда за мою работу, в которой я прониклась установками Александра Сергеевича.

На моей памяти был еще один случай, когда в оперативную комнату ворвались несколько мужчин и начали бить дежурившего старшего врача Маслова за отказ госпитализировать какого-то больного. Из соседней дежурной комнаты на крики прибежали фельдшеры и силой выгнали хулиганов, вызвали милицию, которая всех ворвавшихся увезла в отделение.

Смерть и похороны А. С. Пучкова

Александр Сергеевич и после окончания войны продолжал жить на центральной станции в своей комнатке в конце коридора против оперативной комнаты. С 1949 года Пучков много работал над своей диссертацией по организации скорой медицинской помощи в СССР. Он готовил ее как кандидатскую, но т. к. это было совершенно новое дело, а он использовал свой богатый опыт для создания стройной системы здравоохранения, то ему сразу была присуждена докторская степень, по настоянию академика Н. Н. Бурденко.

Вообще, Александр Сергеевич давно страдал гипертонической болезнью, но не давал себе отдыха и не лечился систематически. Работал он очень много, морально руководя периферическими станциями «Скорой» в областях и крупных городах. Авторитет его в медицинской среде был весьма велик.

В июне 1952 года я была в отпуске на даче. Случайно приехала в Москву по домашним делам и вдруг узнала, что накануне, девятого июля 1952 года от инсульта скончался Александр Сергеевич. Он ночевал в своей комнатке на третьем этаже рядом с помещением оперативной службы,

где прожил все военные годы. Когда утром заметили, что он против обыкновения что-то долго не выходит, стали к нему стучать, потом взломали дверь и обнаружили его без сознания и в параличе. Перенесенный тут же в терапевтическое отделение Института им. Склифосовского, он прожил несколько часов и скончался, не приходя в сознание.

Было вскрыто завещание, в нем он просил похоронить его скромно, на семейном кладбище, ни в коем случае не собирать с сотрудников денег на венки и выразил желание, чтобы цветы были только полевые и играл только квартет слепых музыкантов, которых он знал и любил. Так и было сделано. В большом актовом зала Института был установлен гроб, и нескончаемый поток людей проходил проститься с ним. У гроба, сменяясь в почетном карауле, вставали по четыре человека. Вся медицинская Москва перебывала здесь. Особенно трогательно было видеть, когда в почетном карауле стояли четыре пионера в форме с красными галстуками – это его трое племянников и сын золовки – два мальчика и две девочки. Слепые музыканты негромко играли грустные классические мелодии. Было торжественно и скорбно, много полевых цветов, за которыми ездили на машине за город.

Приходившие проститься из городских организаций и больниц несли большие венки. Перед выносом гроба начались речи – говорили плачущие его сотрудники, врачи, а также работники близких по профилю учреждений. Запомнилось выступление какой-то присланной из министерства величавой женщины, которая, говоря о покойном, несколько раз назвала его Александром Сергеевичем Пушкиным. Было очевидно, что она не знала ни того, ни другого, потому не делала различия между ними. Ее речь очень возмутила всех нас. Надо же было прислать эту

раскормленную бабу в коллектив, который так уважал и любил покойного...

Я слышала громкие высказывания начальника Управления МВД, который сожалел, что так бедно обставлены похороны, что он, если бы ему разрешили родственники и сотрудники, прислал бы весь свой духовой оркестр, чтобы торжественно по городу проводить похоронную процессию.

Наконец гроб вынесли и поставили в похоронный автобус, где поместились с ним родные и близкие. За автобусом ехало много санитарных автобусов и автомашин с провожающими. Приехали на Крестовское кладбище. Могила была уже готова. После нескольких кратких слов прощания распоряжавшийся похоронами старший врач Лингарт сказал: «Ну, все!..»

Но тут выступил незнакомый нам старик, стоявший, понурившись, у самой могилы, и сказал: «Как все?! Нет, дайте мне проститься с моим другом, мы с Сашей Пучковым дружили с 4-го класса гимназии... Это был гуманист... Вся его жизнь была служением простым, рядовым людям, когда они болели или переживали какое-либо горе или несчастье. Да, он был гуманистом, таких бывает немного!..» Мне сказали, что это был профессор С. Н. Дурылин. Его выступление произвело на меня большое впечатление.

Трагедия 8-го марта 1953 года

Хочу еще рассказать о массовых жертвах, которые были в Москве в марте 1953 года после смерти Сталина. Тело его было набальзамировано, выставлено в гробу в зале Дома Союзов (бывш. Благородное собрание) и открыт доступ публике для прощания.

В 1949 году, когда Сталину исполнилось 70 лет, был организован нескончаемый поток поздравлений со всей страны как от различных организаций, так и от отдельных лиц. Печатались они больше года в газете «Известия».

Неудивительно, что прощание с «любимым отцом и учителем» было вначале задумано так: организовать всех, идти со своими предприятиями и учреждениями в Дом Союзов. Позже была дана директива идти только «желающим».

И вот 8-го марта народ пошел стихийно. Многие шли потому, что не хотели быть замеченными как равнодушные, другие – по привычке не выделяться и выполнять все мероприятия партии, было и много просто любопытствующих посмотреть на такое необычное зрелище. Приезжали из других городов и сельской местности поездами, автобусами. Двигались колоннами с черно-красными бантами на груди, семьями, даже с детьми. Пока колонны шли по

радиальным магистралям города, все было спокойно, но когда они стали сходиться к центру, образовалось такое скопление людей, которое совершенно не поддавалось регулированию недостаточными милицейскими силами.

На Б. Дмитровке у подхода к Дому Союзов порядок был нарушен окончательно, возникла давка. Люди, стремившиеся вырваться из толпы, забегали в подъезды домов, поднимались по лестницам, другие вдавливались через разбитые витрины внутрь торговых помещений. Паника охватила людей.

Мой сын-студент тоже пошел с несколькими товарищами, но, увидев у Сретенских ворот настоящее столпотворение, выбрался из толпы и пришел домой невредимым, но «растерзанным», без единой пуговицы на пальто.

Главная катастрофа произошла на Трубной площади, где колонна, идущая от Сретенских ворот по крутому склону Рождественского бульвара, должна была повернуть на Цветной бульвар. Здесь милиция поставила ряд грузовиков, один к другому, которые должны были ограничить поток людей и направить его к центру. Колонна, шедшая от Сретенки, напирала все больше и больше, не зная, что внизу уже скопилась многотысячная толпа и образовался затор. Крутая и скользкая Рождественская горка бульвара еще ускоряла движение масс людей, которых подталкивали идущие сзади. Они не могли уже остановиться в своем движении и все прибывали и прибывали на Трубную площадь. Напор толпы был так силен, что милицию смяли, грузовики опрокинули набок, люди лезли на них и под них, стремясь спастись, и тут же валились под ноги напиравших сверху. На упавших валились следующие за ними, их тоже топтали, а толпа все напирала.

Было много затоптанных насмерть, задавленных, с переломами ребер, рук, ног, сотрясением мозга, ранениями от стекол. «Скорая» работала всеми бригадами своих подстанций, туда же были брошены и санитарные автобусы центропункта, а милиция использовала грузовые машины.

Пострадавших было так много, что работникам «Скорой» было очень трудно, иногда невозможно добраться до них в глубине толпы. Были вызваны резервы милиции и войск МВД, которые с трудом рассредоточили массы людей, ликвидировали хаос и дали возможность оказывать помощь пострадавшим. В приемном покое Института им. Склифосовского делалось что-то невообразимое. Безостановочно подъезжали машина за машиной с живыми и мертвыми, из отделений были вызваны все врачи и персонал. Весь коридор был завален телами – клали прямо на пол бок о бок, без документации, и скорее ехали обратно за следующими жертвами, предоставляя врачам разбираться самим, отделять мертвых от живых и оказывать помощь. Отделения Института были заполнены сверх всякой возможности. Под конец милиция на грузовиках привезла груду сброшенных пальто, шапок, обуви, портфелей, сумок и т. п. вещей...

Все эти события разыгрались 8-го марта. В этот день я не дежурила, была дома и только к вечеру узнала от пришедшего сына, что там творилось. А придя на следующий день на дежурство, была просто оглушена рассказами предыдущей смены. Таких массовых жертв не было ни разу со времен Ходынки и во время войны и бомбежек Москвы, ни по количеству жертв, ни по паническому поведению многотысячной толпы.

Еще несколько дней мы выезжали на квартиры к пострадавшим, которые сгоряча сами добрались до дома, а

затем уже дома у них обнаружились переломы ребер и конечностей и сотрясение мозга.

Через тридцать лет, т. е. в 1982 г., я случайно встретила женщину врача Елену С., которая рассказала мне о своем участии в работе 9-го корпуса Института им. Склифосовского (патологоанатомического), куда привозили трупы с места катастрофы. Я записала с ее слов, что происходило.

«Я только что закончила курсы медсестер при Институте им. Склифосовского и начала работать в отделениях.

8-го марта 1953 г. я пришла на дежурство. Нас, женщин, поздравили с праздником, мне подарили коробку конфет.

Во второй половине дня поступило известие, что в приемный покой привозят огромное количество пострадавших людей, шедших в Дом Союзов прощаться со Сталиным.

В помощь приемному покою были мобилизованы врачи и сестры из отделений. Группу из 15-ти молодых сестер, в том числе и меня, направили в 9-й корпус разбирать трупы и описывать их. Около корпуса – большая толпа возбужденных людей, рвущихся внутрь. Милиция стоит сплошной цепью и внутрь никого не пускает. С трудом с помощью милиционеров мы пробрались через толпу и приступили к работе. В коридорах и залах вскрытий – груды трупов. Врач всех проверяет, нет ли хоть слабых признаков жизни.

У всех множественные повреждения: переломы ребер, рук, ног, разрывы внутренних органов – селезенки, печени, легких – с обширными кровоподтеками. Все лица багрово-синие от удушения. Большинство – без документов.

Мы описывали каждого – приблизительный возраст, пол, рост, телосложение, цвет глаз и волос и особые приметы, как родимые пятна, рубцы, татуировки и т. п. Описывали одежду и обувь подробно. Списки описания вывешивались для родственников, находящихся снаружи. Заявлявших родственников милиция пропускала по одному через другой ход в особое помещение – для опознания личности.

Работали мы с полудня до глубокой ночи, и прошло через нас более ста пятидесяти трупов».

Если бы Александр Сергеевич был еще жив в то время, то с его организаторским чутьем и опытом он бы учел возможность таких массовых происшествий и сумел бы указать Управлению МВД (генералу Журавлеву?), как надо организовать это скопление сотен тысяч людей, чтобы не допустить таких массовых жертв.

Девятого июля 1982 г. исполнилось 30 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пучкова.

НАШИ МНОГОЛЕТНИЕ КВАРТИРНЫЕ МЫТАРСТВА*)...

Гранатный

После развода с Еленой Евгеньевной в 1927 г. Степан Борисович некоторое время жил еще на Арбате, но вскоре ушел оттуда. С новой женой, Ольгой Александровной Бессарабовой, он около года жил в Троицко-Сергиевой лавре, на частной квартире. Вернувшись в Москву, они жили в Брюсовском переулке, снимая проходную комнату у знакомых. Мы с мамой были там у него на Рождество, он приглашал знакомиться с женой. Жили они за шкафами в отгороженной части комнаты.

Вскоре, опять через КУБУ, дядя Степа получил хорошую комнату со всеми удобствами, метров 30 или даже больше, в бельэтаже хорошего дома на Тверском бульваре, с двумя окнами на юг, на бульвар. Было это в 1929 году. Эта комната

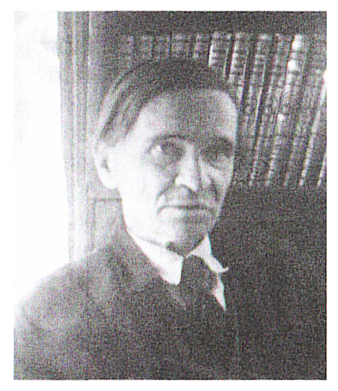
---

*) Глава из воспоминаний Н. К. Веселовской.
Степан Борисович Веселовский – дядя Н.К., младший брат отца.

вместила кроме кроватей, столов и стульев много книжных шкафов с его библиотекой и даже рояль. С рождением Ани в октябре 1930 г. комнату перегородили шкафами надвое – стало по одному окну в каждой половине.

Степану Борисовичу было неспокойно жить и работать в одной комнате с ребенком, и в сентябре 1931 г. он обменял ее на три комнаты в Гранатном переулке. Дом был старинной постройки, деревянный, оштукатуренный внутри и снаружи, двухэтажный – нижний с высокими потолками, верхний – маленькие и низкие комнаты-клетушки. Отопление печное, окна маленькие, широкая парадная лестница вела наверх одним маршем, минуя первый этаж.

Веселовскому достались комнаты наверху: две изолированные рядом, метров по 11–12 и отдельно большая, метров в 30 или даже больше, но проходная для всех соседей по квартире. В нее выходили двери еще двух маленьких комнаток соседей – в одной жила старуха Ковалева, бывшая домработница хозяина дома с племянницей-портнихой, в другой – одинокий еврей-журналист. Кроме того, в этой же комнате было еще две двери: в другую проходную, маленькую квадратную переднюю, и в кухню. Кухня узкая, длинная, проходная вдоль, из нее дверь на винтовую черную лестницу во двор. Тут же крошечная уборная с прогнившим полом, содержавшаяся очень грязно. При кухне – узкая и длинная комната, метров 12, где ютилась семья Ивановых: муж – рабочий, жена домохозяйка (занималась добы-



ванием и перепродажей дефицитных продуктов и товаров), много детей, которых с каждым годом становилось все больше. Постоянные приезжие из деревни за товарами и с товарами; все они спали вповалку на полу, на тюфяках и на тряпье, не раздеваясь.

В квадратном маленьком коридоре, около 10 метров, куда выходили двери обеих комнат Степана Борисовича, находилась бывшая домработница Якушина Мария Петровна с подростком-сыном и девушкой-дочерью. Жили они за занавеской на двух узких постелях, а ели на подоконнике, загораживая проход. Чтобы Веселовским пройти из одной своей комнаты в другую или третью, большую, надо было проходить через них, а все остальные соседи тоже ходили через них в ванную комнату и на парадный ход. Одним словом, идеальная обстановка коммунальной квартиры!

Сам Степан Борисович занял комнату у парадного хода, наиболее изолированную, в ней поместилось его американское бюро, кресло, два американских книжных шкафа до потолка и импровизированное ложе для него, чуть ли не из ящиков, или тоже книжных секций с тощим тюфячком. Ольга Александровна с Аней поместилась в соседней изолированной комнате, которую почти всю заняла громадная двуспальная никелированная кровать (2x2 метра), привезенная из Татариновки. Ольга Александровна предлагала ее мне с Борисом, но мы отказались, и она была вскоре продана. В большой проходной комнате поставили все остальные книжные шкафы и американские полки, а рояль ликвидировали.

И вот, думая нам «помочь» и себя несколько устроить (он предполагал столоваться у мамы), дядя Степа предложил нам следующую комбинацию: мы размениваем наши две комнаты (около 28 м^2) в Шведском переулке со всеми

удобствами: центральным отоплением, телефоном, в хорошем кирпичном доме. Взамен получаем две разных: одну – его соседа-журналиста в 11 метров, а вторую – 18 метров, его жены, с которой он съезжается, хотя в каменном доме, но с голландским отоплением и в очень большой и перенаселенной квартире. Сам же дядя Степа добавляет нам от себя свою большую проходную комнату «для Бориса с Наташей» или для Александры Васильевны с тремя детьми. И дядя Степа, и Ольга Александровна уговаривали нас и убеждали, что, *несомненно, и совершенно достоверно* Мария Петровна с детьми вот-вот получат комнату в подвальном помещении, которое отстраивают для себя застройщики и одну комнату, по договору, сдают домоуправлению. Она же, как старый жилец, как чахоточная и с двумя детьми – первый и единственный неоспоримый кандидат, так что скоро ее не будет. А от других соседей были тоже «несомненные» проекты, как отделиться совсем. Они утверждали, что «можно» будет (но, конечно, за наш, Веселовских, счет!) перенести дверь Ковалевых из большой проходной комнаты в кухонный коридор, рядом с Ивановыми, затем заделать дверь из большой комнаты в кухню, чтобы совсем отделиться от Ковалевых и Ивановых, оставить в их распоряжении кухню, уборную и черный ход. Для нас же легко сделать кухню и уборную в ванной комнате и самим ходить через парадный ход. Таким образом, для нас, Веселовских, будет создана отдельная квартира, только для Веселовских! А большую комнату, тогда уже не проходную, дядя Степа отдаст Борису с Наташей или Александре Васильевне с сыном и двумя дочерьми. Вообще, все будет хорошо и чудесно!!!

Мы были так наивны и доверчивы, так непрактичны, что не подозревали, что все эти «chateaux d'Espagne» совершенно невыполнимы, и радовались перспективе тако-

го замечательного устройства. В конце лета 1932 г. обмен этот состоялся: я и Боря поселились на улице Маркса-Энгельса, а мама с Борей, Таней и Риной на Гранатном.

Кровать Бори и стол для еды и занятий поместились в темном закутке большой проходной комнаты, отгороженном книжными шкафами до потолка. Темнота и постоянный шум от ходьбы и разговоров враждебных соседей из трех дверей, сновавших по оставленному проходу. Обстановка, не способствующая сну и занятиям!

Не успели переехать, как начались разочарования: никуда Якушина с двумя детьми не переехала, так как комнату в подвале самовольно заняла другая семья с несколькими детьми. Она осталась на том же месте, за своей занавеской. Никакие жалобы, комиссии – не помогали ей.

Затем нечего было и думать отделиться от других соседей: они встретили нас злобно и нарочно старались постоянно ходить через нашу комнату, утверждая свои права на парадный ход и ванную.

Когда мы поняли, какую ужасную и непоправимую глупость мы сделали, было уже поздно... В течение двух лет мы жили так. Как мама с двумя дочерьми жила на 11 метрах, а Боря-брат жил за шкафами в темном углу – просто жутко вспоминать... Мы с Борисом и Котиком жили на улице Маркса-Энгельса сравнительно шикарно: через нас никто не ходил, мы были хозяевами в своей комнате. Но вскоре и там начались неприятности.

Когда-то, до революции, этот дом принадлежал купцу Пастухову, издателю «Московского листка», его типография находилась тут же, за домом, во дворе. Теперь там была военная типография.

Квартира в бельэтаже была у хозяина парадной, с высокими потолками до пяти метров, с паркетными полами. После национализации эти залы разгородили на комнаты

и плотно заселили. Всего комнат было 14, располагались они по одну сторону П-образного коридора, в обоих концах которого было по кухне и по черному ходу во двор. Парадный ход был в центре квартиры.



Большая комната прямо против входной двери была занята канцелярией типографии, там вечно толокся народ, входная дверь запиралась только на ночь. Ко времени нашего поселения там типография уже заняла одну из кухонь с черным ходом и две соседние комнаты под парикмахерскую и медпункт – они располагались за стеной нашей комнаты. Вскоре, по жалобам жильцов, типография поставила перегородку поперек коридора, отдалив эту часть от остальной квартиры, и перевела канцелярию в другое помещение, поселив на ее место новых жильцов.

От такой перепланировки жильцы значительно выиграли, но в дальнейшем комендатура типографии все же старалась всячески ущемлять наши интересы и переселять жильцов на сторону, дабы захватить и остальные комнаты под свои учреждения.

Так, в 1933 г., при перестройке и расширении столовой, находившейся под нами, они подняли там потолок, а в нашей комнате загородили наглухо нижнюю половину единственного окна. Мы обращались и в санитарный надзор, и в жилуправление к инженеру-строителю, но было очень трудно воевать с администрацией военной типографии, которая считала нас всех своими нежелательными

жильцами и все грозилась выселить, вообще, неизвестно куда. Наконец, в виде компенсации за затемненное окно, нам пробили другое рядом, но только под потолком, на уровне первого. Стало светлее, но получилось очень некрасиво: нижняя часть оконной ниши была также заложена кирпичом, и мы только могли использовать ее, поставив там книжную полку. Вся эта история стоила нам многих волнений, огорчений и чувства полной беззащитности против агрессии.

Пока мы там жили два года – меня и Бориса все время терзало, что из-за нашего устройства так ужасно «не устроены» были мать, брат и сестры. На втором году жизни, окончательно изверившись в каких-либо улучшениях положения на Гранатном, мы пытались обменяться на две комнаты вместе, но это не удавалось: уж очень наши были плохи, и не находилось подобных нам дурней. Были планы сменяться за город, ездили, смотрели, ничего подходящего не подвертывалось. Да и трудно было уехать из Москвы, так как все учились или работали, и вопрос транспорта и большой потери времени на езду страшил нас.

Летом 1933 г. Борис Степанович ездил в командировки по заводам своего объединения, присматривался. Был проект, предложенный Екатериной Ивановной Новодворской, работавшей врачом на строительстве Волго-канала, устроиться нам обоим, мне и Борису, там же, законтрактовавшись вольнонаемными и получив броню на нашу комнату на все время строительства, с тем, чтобы в ней жили мать, брат и сестры. Все больше мы оба приходили к мысли и желанию уехать куда-либо из Москвы, где так невыносимо сложилась жизнь всей нашей семьи.

Окончательный толчок этому решению дал дядя Степа.

Он тоже изнемог от Гранатной обстановки и в октябре 1934 года решил обменяться за город, в Ново-Гиреево.

Там он получал примерно такую же площадь, т. е. три смежные комнаты в деревянном доме-дачке с печным отоплением, водопроводом и теплой уборной. Одна угловая комната для него – метров 12, к ней проходная, такая же для Ольги Александровны с Аней, а далее еще проходная, большая, метров 25, через которую кроме них ходила полусумасшедшая старуха Матрена, бывшая домработница доктора Маргулиса, жившего в этой же квартире, через коридор. Были еще одни жильцы, рядом с доктором, далеко за кухней и коридором. Кроме того, Веселовские получали большую застекленную террасу.

Ново-Гиреевские жители, евреи Арановичи, так ухватились за возможность обмена в Москву, что неотступно уговаривали дядю Степу и были готовы доплатить ему большую сумму. Как потом выяснилось, они собрали со всех сторон 7.000 рублей и ждали, что их потребуют. Но так как не последовало требование денег и никаких, вообще, претензий, то не предлагать же самим! Они сменялись на Москву без всяких доплат и хохотали над профессором Веселовским, который не только не предъявил им никаких требований, но даже залез в долги, истратив на переезд и устройство около 800 рублей!

Дядя Степа и нам предлагал сменить нашу комнату на Гранатном на комнату такой же площади старухи-Матрены в Ново-Гиреево. Мы отказались, считая, что и так доменялись почти до иголочки, теперь и ее надо было потерять?!

О том, чтобы за нами осталась обещанная нам дядина проходная комната на Гранатном, в которой два года прожил-промучился брат Борис, не возникало вопроса ни с нашей стороны, ни со стороны дяди Степы и Ольги Александровны. В конце лета 1934 года они уехали в Ново-Гиреево.

Мы тоже произвели обмен: мама с двумя девочками переселилась в нашу комнату на улице Маркса-Энгельса,

а я с Борисом и Котиком перебралась на Гранатный. Брат Борис остался прописанным на Гранатном, но жить ему там было негде – нас трое и нянька на 11 метрах! Поэтому до нашего отъезда из Москвы он жил с матерью и сестрами.

Тем временем, в октябре 1934 года, Борис Степанович опять поехал в Мелитополь с твердым решением устроиться там работать и жить всей семьей. Ему обещали дать двухкомнатную квартиру, метров сорок, в заводском доме, который как раз в это время достраивался. Одновременно он разузнал, какие возможности там для моей работы. При нем завершили отделку нашей квартиры. Тогда он заключил договор с заводом им. Воровского и в декабре приехал за нами. Тем временем я ушла с должности инспектора ОММ Наркомздрава РСФСР, где работала два года после Нары, собрала пожитки и 22 декабря мы уехали в Мелитополь.

На Гранатном остался один Борис Константинович.

Арановичи, поменявшись с дядей Степой, вели себя совсем иначе: в большой проходной комнате, освобожденной для них Веселовскими, поставили деревянную, неоштукатуренную перегородку с окном для семьи Якушиных, которые с радостью перебрались в этот, хотя и затемненный, но непроходной угол метров 20-ти. Ковалевым при постановке перегородки был оставлен коридорчик-тупичок, которому они тоже были довольны и поставили там свои вещи. Возможно, что старуха взяла с Арановичей какую-то сумму за отказ проходить в ванную комнату и на парадный ход. С Ивановыми за такой отказ им пришлось раскошелиться, но ведь деньги-то у них были! Только с нами они не сочли нужным договариваться, просто закрыли и заставили дверь из большой проходной в маленькую, до поры до времени не заделывая ее во избежание придирок пожар-

ного надзора. Боря-брат сначала хотел протестовать (через пожарный надзор и суд) против закрытия двери, но потом махнул рукой.

Благодаря тому, что комната была сначала на имя Бориса Степановича (оба были Борисами и оба Веселовские), перевод лицевого счета на Бориса Константиновича прошел без осложнений – при содействии домуправа, который всегда был на стороне семьи проф. Веселовского.

С нашим отъездом из Москвы брат Борис поселился вместо нас в 11-метровой комнате и воспрянул духом. В письме ко мне 1935 года он пишет: «Как хорошо в отдельной комнате – я человеком стал!..» Обстановка на Гранатном продолжала оставаться убогой, соседи отвратительными, надо было топить печь и как-то организовывать свое скромное хозяйство. Мать и сестры навещали его и старались создать минимальный комфорт.

Игорь Нечаев*), после высылки родителей в 1935 году в Семипалатинск и выселении его с сестрой из их квартиры, перетащил к Борису огромный двухтумбовый письменный стол отца, весь резного дуба, который занял почти полкомнаты. На нем Борис занимался, ел, на нем же частенько спал сам Игорь, о чем он упоминает в стихах, посвященных Борису.

У Бори часто были приступы малярии, захваченной им в туристических походах, и тогда он временно переселялся к матери, в комнату на улице Маркса-Энгельса. Иногда он также жил там с нею или сестрами, когда часть их уезжала на практику, в турпоходы, на дачу или к Наташе в Мелитополь...

---

*) Игорь Александрович Нечаев – близкий друг Бориса Константиновича и всей семьи Веселовских. Членам семьи посвящены многие стихотворения И. А. Подробнее см. ниже – его «Воспоминания».

Твой дом мне часто был становьем,
Он был клочком моей земли,
А речь хозяина – подспорьем
Души, осевшей на мели.

Я не забуду до гробницы
Гостеприимный твой закут,
Где книг обильные страницы
Земную мудрость берегут.

Где обязательный хозяин,
То геохимик, то поэт,
Подчас, беседуя с друзьями,
Свою тоску сводил на нет.

Где сохли в чайнике букеты,
Отчасти по моей вине.
Где мы сражались до рассвета,
Отвагу черпая в вине.

Где почитанием сыновьим
Столы похвастать не могли,
Где мне служили изголовьем
Увражи бедного Мабли.

31/VIII – 36 г. *Игорь Нечаев*

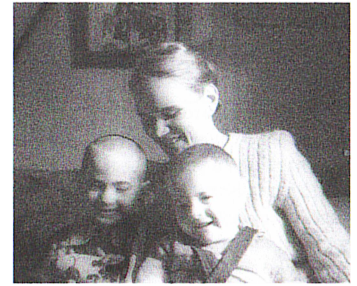
Временами от переутомления, нерегулярного и недостаточно калорийного питания Борис падал в обмороки. Когда в конце 1938 года Татьяна вышла замуж и переселилась к мужу, Борис окончательно поменялся комнатами с Ириной, которая и раньше с радостью уединялась в его комнате. Он перебрался к матери, которая всеми силами старалась создавать ему условия регулярного питания, отдыха и работы дома.



Еще в 1932 году Борис-брат вступил у себя на работе в жилищно-строительный кооператив, и мы ежемесячно вносили по 100 р., что было для нас значительным расходом, пока не внесли всей полагающейся суммы в 3.000 рублей. Квартиры получили только попавшие в 1-ю очередь, там были свары и злоупотребления, а 2-я партия все ждала своей очереди, пока в 1936 году Моссовет не забрал все кооперативные дома в свою сеть, деньги вернул, значительно к тому времени обесцененные.

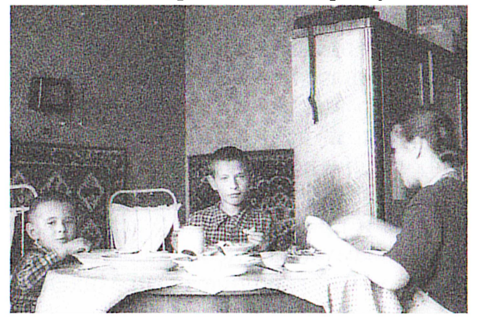
В комнате на ул. Маркса-Энгельса Борис прожил с матерью до войны. Из нее он ездил в эвакуацию со своим институтом, из нее был вторично взят в армию в августе 1942 года; в нее уже не вернулся с фронта...

В 1938 году Ирина окончательно обосновалась на Гранатном и прожила там 16 лет. Там, весной 1940 года она вышла замуж за Глеба Николаевича Макарова, там же в августе 1942 г. родился сын Михаил, а в декабре 1949 г. – Андрей.



Жилось им там очень плохо: вчетвером на 11 метрах, некультурные и злобные соседи, отсутствие элементарных удобств, грязь в квартире и разрушение самого дома. К тому времени в коридорчике-проходе у окна уже поставили несколько больших бре-

вен – подпорку под потолок – все гнило, прогибалось, окна и двери перекосились. В уборной мокрый пол совсем сгнил, пол в кухне трещал и прогибался... Ступеньки и перила узкой винтообразной лестницы черного хода, единственного выхода, оставленного Арановичами для остальных жильцов квартиры, были в плачевном состоянии. А по этой лестнице надо было и ходить, и, кроме того, таскать со двора дрова для печки. Когда был снесен одноэтажный флигель во дворе и дровяные сараи, то дрова негде было хранить, пришлось складывать их уже в напиленном и наколотом виде в коридорчике, под запертой дверью к Арановичам, и в кухне, где и без того негде было повернуться. Готовка пищи и стирка происходила там же, на керосинках и примусах...



Только в 1954 году Глеб, уже кандидат и декан факультета в Менделеевском институте, получил ордер на 32-х метровую комнату в Померанцевом переулке, в общей квартире пятиэтажного каменного дома. Большая комната на 3-м этаже, с высокими потолками, двумя большими окнами, паркетным полом*).

*) Ранее в этой комнате жил профессор физического факультета МГУ Владимир Ксенофонтович Семенченко, его отец до революции занимал всю эту квартиру, в соседней комнате, вплоть до середины 70-х гг. жила его сестра, Мария Ксенофонтовна. Комната освободилась в связи с его переездом в «профессорскую» квартиру в комплексе новых зданий МГУ на Воробьевых горах. В квартире было 6 комнат, но проживало вначале 7 семей – седьмая, дворничиха Мария Петровна, с двумя взрослыми детьми, жила в кладовке 5 м^2,

Широкие коридоры, чистая большая уборная, газовые плиты на кухне, телефон, лифт... После Гранатного они почувствовали себя как в раю, несмотря на наличие шести семей соседей по 2 взрослых человека...

Дальнейшая судьба Гранатного: еще при дяде Степе дочь Марии Петровны, Катя, служившая горничной в гостинице, попалась в краже и была осуждена на 10 лет. Сын женился, с матерью и женой он жил в темном углу за перегородкой, поставленной Арановичами. Мария Петровна вскоре умерла от чахотки, сын погиб на фронте в войну. Его вдова с ребенком после отъезда семьи Ирины сразу же самовольно заняла их комнату, а ее темный угол заняли члены многочисленной и все разраставшейся семьи Ивановых.

Дом был снесен только летом 1975 года*), но кошмарный «призрак Гранатного» до сих пор вспоминается взрослыми Веселовскими, жившими там в 1932–1954 годах...

Ново-Гиреево

Степан Борисович еще на Гранатном стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, но это материально мало сказалось на его положении. Они жили на жалование, которое не обеспечивало хорошего питания, пайки были тоже скромными. Приходилось распродавать вещи, захваченные с собой с Арбата и из Татариновки, причем все шло за полцены, и деньги быстро улетали.

единственное окно которой выходило на лестницу черного хода. Получила она нормальную комнату в соседнем доме лишь во второй половине 50-х гг. – *А. М.*

*) Снос дома был связан со строительством в глубине двора большого девятиэтажного «цековского» дома, в нем весь шестой этаж (высота потолков которого на метр больше, чем у остальных этажей!) занимала квартира семьи Брежневых.

Переехав летом 1934 года в Ново-Гиреево, он жил там безвыездно до своей эвакуации во время войны в Казань и Ташкент. Первое время у них в Ново-Гирееве жила Вера Петровна*), человек очень хозяйственный и практичный. Вера Петровна прожила у них в проходной столовой недолго – один или полтора года, так как, по-видимому, ее не устраивало такое положение. Вскоре она уехала в Тулу к матери и брату, где и поселилась напостоянно в их собственном домике с садом и занялась домашним хозяйством. Там она и умерла, еще до войны, от злокачественного малокровия.

Хотя обстановка жизни в Гирееве была более, чем скромной, но после атмосферы Гранатного она все-таки устраивала Степана Борисовича, так как он работал дома и, собственно, лично в Москве мало нуждался. Здесь он имел теперь хотя небольшую, но отдельную спальню-кабинет, электричество горело, водопровод работал, теплая уборная тоже, даже можно было пользоваться ванной рядом с кухней. Старуха Матрена, ходившая через их столовую, и кухонное общение с двумя другими соседями мало его касалось. Летом – это была дача, так как в это время Гиреево было очень зеленым и тихим дачным поселком. Иногда он уезжал в академические санатории.

В дальнейшем, еще до войны, Академия наук значительно улучшила его материальное обеспечение деньгами, продуктами и промтоварами. Он как-то подсчитал, что его месячный заработок равнялся 12-ти окладам учителей. В 1938 году ему даже предлагали жилплощадь в Москве, но он от нее отказался, так как, по-видимому, предложен-

*) Вера Петровна Мамонтова – до революции и в годы гражданской войны жила в семье Веселовских и «руководила» ведением большого хозяйства в их имении-даче Татариново около ст. Михнево.

ное его не устраивало. Тогда его поставили на очередь на получение отдельной квартиры в новом доме.

Тем временем Всеволод изнемог на Арбате. Женившись вторично в августе 1937 года на Марии Михайловне Голицыной, он два года жил с женой и дочерью, снимая комнатку у родственников жены. В арбатской квартире еще находилась его первая, разведенная жена, не проявлявшая склонности уйти безвозмездно.

Чтобы избавиться от нее, нескоро и с большим трудом, он обменял две оставшиеся арбатские комнаты (половину библиотеки и гостиную) на две разных. Он с матерью, братом Глебом, женой и девочкой поселился на улице Усачева, около Ново-Девичьего монастыря.

Комната в 32 метра была неправильной, трапециевидной формы, с одним окном по всей малой стене, смотрящим на Воробьевы горы и железнодорожные пути окружной дороги. Комнату они разгородили на три отсека: половину окна – Глебу, половина окна – Всеволоду с женой и ребенком и темная часть, где на большом сундуке, около обеденного стола поместилась Елена Евгеньевна, а на раскладушке, около обеденного стола – домработница Клава. Ожидался второй ребенок…

В особенно тяжелом положении оказалась мать – Елена Евгеньевна, да и для Всеволода такое «устройство» было терпимо только как временное. Он вступил в жилищно-строительный кооператив научных работников, но там скоро ничего не ожидалось, надо было ждать несколько лет. Только после войны подошла его очередь, и он смог получить квартиру в Москве, за которую давно выплатил полностью.

Тем временем Степан Борисович в январе 1940 г. был включен в число академиков, получающих квартиры в

новостроящемся доме Академии наук на Б. Калужской, 13. Желая, в первую очередь, помочь Всеволоду, «оказавшемуся в тяжелом положении», он включил в заявку, кроме жены и дочери, еще и сына, не упоминая о его семье. Проектировалось, что Елена Евгеньевна с Глебом останутся на Усачевке, а семья Всеволода присоединится к отцу и будет жить с ним в его новой 100-метровой квартире.

Усачевка

Когда мы оба решили, что в Мелитополе нам больше делать нечего, то Борис Степанович согласовал свой переход в Ростов-на Дону главным инженером элеваторных мастерских, и мы уехали туда.

По приезде в Ростов обнаружились трудности с питанием: громадные очереди за хлебом, круп совсем не было, многое приходилось брать на рынке, что было нам не по карману. Кроме того, выяснилось, что мне можно устроиться только в амбулатории, о стационаре нечего и мечтать, а в техникуме мне предложили только занятия по общеобразовательным предметам, т. к. «акушерство и хирургию у нас ведут врачи стационаров».

Перейдя от налаженной жизни, где все хозяйство было на хорошей домработнице, и, не видя возможности устроиться на интересную работу, я совершенно пала духом. В таком настроении я писала в Москву матери и сестрам о своем разочаровании и трудностях. Они всполошились и довольно резко советовали мне бросить все и с Костей приезжать к ним в Москву. Кроме того, в их письмах были сообщения, что дядя Степан Борисович получает квартиру в Москве, а Ново-Гиреево бросает. Брат Борис и Таня активно взялись выяснить, нельзя ли вернуться в Подмосковье, поближе к родным.

Было много разговоров, споров, переписки и «внушений» дяде Степану Борисовичу, проектов и планов Ольги Александровны, можно ли это сделать и каким образом. Наконец дядя сообщил, чтобы Борис Степанович или я немедленно приезжали и прописывались у него, «а там виднее будет…» Пропустить такую исключительную возможность вернуться в Москву я не могла. Я собралась – и с Костей, и с чемоданами села в поезд, не зная, как я доберусь, и что из этого выйдет.

В то время после финской кампании въезд в Москву был сильно затруднен, прописка – тем более. Ходили упорные слухи, что без командировки и специального вызова в Москву не пускают, в пути проверяют документы и даже снимают с поезда.

Несмотря на такие сведения и предупреждения, я решила во чтобы то ни стало пробраться в Москву. Если меня с Костей при проверке снимут с поезда, то я даю телеграмму брату Борису и Тане, чтобы они приехали и забрали Костю и вещи, а сама я буду пробираться налегке, как смогу, вплоть до пешего хождения.

Слухи и страхи оказались преувеличенными, мы спокойно доехали до Казанского вокзала, где нас на платформе встретили брат Борис и Таня с Женей, взяли легковое такси и поехали по оголенному Садовому кольцу на Б. Калужскую к Тане. Было это 1 августа 1940 г.

На другой день я поехала в Ново-Гиреево к дяде. Там выяснилось, что буквально накануне, 30 июля Всеволод с женой уже прописались в Ново-Гиреево у отца, что новая квартира будет готова только к осени, а пока… мне нигде нет места. На закупку дров и на ремонт квартиры дядя предложил мне дать заранее денег, т. к. предполагалось, что с осени 40-го года мы с Борисом Степановичем будем уже жить в Ново-Гиреево.

Пока я поселилась у Тани, на Б. Калужской, в ее проходной комнате, за ширмой. Костю забрала к себе мама, и он поступил в 1-й класс школы.

Когда в следующий день я приехала на Усачевку к тете Елене Евгеньевне, она и Глеб встретили меня очень тепло, радовались, что скоро мы будем в Москве с ними. Узнав об изменении новогиреевских планов устройства, тетя Леля и Глеб сейчас же предложили мне прописаться у них, т. к. у них был избыток площади. Сначала милиция прописала меня только на месяц, «т. к. вы оторвались от Москвы».

Надо было устраиваться куда-нибудь на работу. Мы с дядей поехали в г. Дмитров, где жили родители Маши, и она сама на даче у них с детьми. По просьбе дяди Степана Борисовича Машин отец, Михаил Владимирович Голицын, дал мне рекомендательное письмо к начальнику московской станции скорой медицинской помощи, доктору А. С. Пучкову, с которым он долго работал по обслуживанию беженцев и раненых в Первую мировую войну. Пучков расспросил меня о стаже и характере моей предыдущей работы и принял меня выездным врачом.

Первое время мне удавалось продлевать свою прописку только по одному месяцу, но через некоторое время Пучков дал мне ходатайство в 7-ое отделение милиции о постоянной прописке, ссылаясь на то, что «по специфике работы скорой помощи врача могут вызвать в любое время дня и ночи». Наконец в декабре 1940 г. у меня появилась постоянная прописка, а затем я обменяла свой паспорт на московский.

Борис Степанович оставался один в Ростове всю зиму 1940–41 гг., т. к. его договор с заводом не давал ему возможности уехать оттуда сразу: надо было согласовывать в тресте перевод в Москву и искать себе заместителя. Лишь

в мае 1941 г. он приехал в Москву в отпуск, договорился об уходе из Ростова-на-Дону и о поступлении на работу в свое прежнее конструкторское бюро, после чего поехал в конце мая сдавать дела на заводе и упаковываться. Одновременно, в Москве же, он подал заявление и был восстановлен после более чем 20-летнего перерыва в заочном Политехническом институте на машиностроительном отделении.

Все эти наши планы и надежды нарушила война, заставшая меня в Москве, а Бориса Степановича в Ростове.

Встретились мы только через 4 года в августе 1945 г.

* * *

Осенью 1940 г. в почти уже отстроенном и часто заселенном доме Академии наук на Б. Калужской ул., 13, случился пожар, о чем я подробно написала Борису Степановичу. Выгорели две секции, в том числе та, где была определена квартира для Веселовского. Начался ремонт по восстановлению, срок вселения был отодвинут на весну 1941 г.

Всеволод привез с дачи свою семью – жену и двух девочек – в Ново-Гиреево. Они поместились в проходной комнате-столовой и прожили там всю зиму. Теснота была ужасная, но благодаря добродушию и даже самоотверженности Ольги Александровны, жили дружно, одним хозяйством.

Единственно, что меня и Бориса Степановича радовало во всей этой квартирной неурядице и неопределенности, это что тетя Леля Евгеньевна жила на Усачевке одна с Глебом и домработницей Клавой, и у нее не было такой нагрузки по хозяйству и уходу за Анюткой, как в две предыдущие зимы, когда Маша целыми днями оставляла ребенка на нее, а Клава с полдня уходила работать по совместительству парикмахером.

Опыт жизни вдвоем с Борисом Степановичем в мае месяце на Усачевке привел нас обоих к твердому решению не стеснять ни их (Елену Евгеньевну и Глеба), ни себя на длительное время, а искать другие возможности жить всей своей семьей, хотя бы и где-нибудь под Москвой.

В начале 1941 г. дядя Степан Борисович вызвал меня к себе и в категорической форме предложил мне снять соседнюю дачу на лето за 1200 р. с тем, чтобы с осени Всеволоду с семьей можно было бы поселиться там на зиму: «Если опять не получим квартиру на Б. Калужской, то жить так вторую зиму уже невозможно!...»

Так как уже в то время все было налажено и договорено насчет переезда Бориса Степановича в Москву, то я задала вопрос: «А где же тогда следующую зиму мы будем жить с Борисом и Костей?» В ответ я получила: «Ведь Костя у Александры Васильевны, вы можете временно на Усачевке».

Я договорилась с Всеволодом, который категорически отказался от этой дачи и на лето, и на зиму, я сняла ее для себя, и мы тут же поселились там с мамой и Костей. В ней нас застала война, в ней мы прожили лето, иногда при «тревогах» спускаясь в вырытые в саду убежища-щели. С наступлением осени, холодов и дождей, мы трое переселились в Москву, сначала к Тане, а потом на Усачевку, стоявшую пустой: тетя Леля Евгеньевна умерла 30/VI от воспаления легких, Глеб был в июле взят в армию, Клава – мобилизована на труд-фронт – на лесозаготовки.

Дядя Степан Борисович с Ольгой Александровной и Аней эвакуировался сначала в Казань, а потом в Ташкент. На их комнаты в Ново-Гирееве и на библиотеку были выданы охранные грамоты. Всеволоду было неудобно жить там одному и ездить на работу ввиду постоянных «воздуш-

ных тревог». Кроме того, он часто ездил в г. Дмитров к семье, особенно, когда его институт ВИМС тоже стал готовиться к эвакуации.. Из-за его отсутствия и, придравшись к тому, что за квартиру не было заплачено за несколько месяцев, домоуправ вселил в квартиру академика Веселовского своих родственников. Некультурные жильцы выкинули шкафы и книги на террасу и стали топить книгами. Это было обнаружено мной и Таней, когда мы приехали в Ново-Гиреево для контроля. Нами сразу были приняты меры: строго предупреждены жильцы и домоуправ, подобраны сваленные книги в шкафы, кое-что увязано, некоторые связки рукописей на себе увезены в Москву. Кроме того, сообщено в Академию о нарушении охранных грамот и аварийном состоянии библиотеки академика Веселовского.

В это время в Москве проездом, по командировке воинской части, появился брат Ольги Александровны – художник. Узнав о захвате и разгроме их квартиры, он достал большой автобус и вывез почти все книги и рукописи в Москву, в квартиру своего мобилизованного товарища, о чем сообщил мне на Усачевку. Я немедленно получила от Академии вторую охранную грамоту на библиотеку по новому адресу. Но, главное, договорилась с проживающей там пожилой домработницей Марфушей о наблюдении за комнатой и целостью книг и немедленном сообщении мне по телефону о каких-нибудь событиях. После этого мы с Таней вторично поехали в Ново-Гиреево и обнаружили там еще целый шкаф книг в кухонном коридоре, забытых Борисом Александровичем. Мы напихали шкаф всеми оставшимися книгами и забили гвоздями, т. к. ключей не было.

В начале 1942 г. я получила сообщение от Марфуши, что вернулась ее хозяйка – жена товарища Бориса Алексан-

дровича и выкидывает книги на лестничную площадку. Немедленно поехав туда с Таней, мы уговорили эту женщину подождать два-три дня, пока мы свяжем книги в пачки и увезем их оттуда. Так и сделали: мобилизовали молодежь – родственников и знакомых, связали книги, получили в хозуправлении Академии грузовик, и за три раза перевезли книги на Усачевку, где они пробыли в сохранности до возвращения дяди Степана Борисовича из эвакуации.

* * *

После смерти тети Елены Евгеньевны и мобилизации Глеба с осени 1941 г. я поселилась с мамой, Костей и Таней на Усачевке, т. к. вместе нам было легче (с питанием, отоплением и т. д.) переживать это трудное время.

Когда Клава вернулась с лесозаготовок, я предложила ей занять пустые комнаты соседей, сбежавших во время октябрьской паники при наступлении немцев на Москву. Она так и сделала, т. к. ей было там удобно принимать своих кавалеров, имея особое помещение. Она только просила меня не выписывать ее совсем с площади, на что я согласилась. Все же я сходила в ее профсоюз и там нарушила ее договор (как домработницы) с Еленой Евгеньевной вследствие смерти работодательницы. Через год или полтора, когда вернулись уезжавшие соседки, Клава уехала куда-то совсем, я подала заявление в домоуправление с просьбой выписать ее, но в конторе были знакомые девицы, которые не отметили ее. Она так и продолжала числиться проживающей в нашей квартире в течение еще восьми лет. Я обнаружила это только при обмене на 1-ю Мещанскую в 1950 г., и мне пришлось выписывать ее через милицию и по свидетельству соседей, что она не живет уже много лет и неизвестно, куда уехала.

Когда в середине декабря 1941 г. мы получили официальное извещение о гибели Глеба, я решила тут же хлопотать о переводе лицевого счета на себя. Запасшись справками: похоронной военкомата, справкой о смерти тети Лели, справкой о муже-фронтовике и ходатайством от Станции скорой медпомощи, я пошла в жилотдел Фрунзенского района и подала заявление.

– Вы нам теперь нужный человек, доктор! – сказала пожилая женщина-инспектор, сидевшая одна-одинешенька в пустом жилотделе и удивившаяся моему заявлению. Она немедленно выдала мне писульку в домоуправление – перевести лицевой счет на меня.

Когда в январе из Дмитрова появился Всеволод, он приехал на Усачевку за вещами, но, увидев там расположившуюся мою семью, даже не поднимал вопроса о вселении его туда, а, наоборот, стал усиленно хлопотать о выселении узурпаторов из Ново-Гиреево. С помощью Академии наук и прокуратуры ему за лето 1942 г. удалось добиться этого, а с осени он перевез туда сначала свою семью, а потом и родителей жены.

Дядя Степа был очень благодарен мне за заботы об его рукописях и книгах и написал, что Наташа правильно сделала, иначе комната, как «вымершая», пропала бы для семьи, и так же подтвердил, что Наташа [Н. К. Веселовская – *А. М.*], что Наташа имела право поселить у себя мать и сестру в такое тяжелое время.

* * *

Первая военная зима на Усачевке была для нас очень трудной, осложненной не только недостатками питания, но и нарушением всего городского быта. Многие корпуса

наших домов стояли полупустыми – мобилизация в армию и на трудфронт, эвакуация. Топлива для котельной не хватало, в некоторых домах замерз водопровод, не работала канализация.

В середине зимы в наш корпус, как в наиболее сохранившийся, стали вселять жильцов из других корпусов, занимая комнаты,брошенные сбежавшими или эвакуированными людьми. У нас поселился старый рабочий, мастер механического цеха, большой любитель чтения. Когда он увидел, что мы для приготовления пищи топим плиту книгами, то предложил взамен приносить промасленные «концы» – тряпье, которым обтираются машины. Они хорошо горели, но давали такую обильную копоть, что мы все ходили с черными руками и лицами. Что было делать?!

Керосиновые талоны было очень трудно отоваривать, не всегда из-за больших очередей, часто просто пропадали. Первое время готовили на электроплитке, но потом всюду поставили «ограничители», и свет выключался, как только включали больше одной плитки или большую лампу. Пришлось сжечь в кухонной чугунной плите все, что горело: кухонный стол, полку, деревянное корыто, плетеную кроватку Анютки, кишевшую клопами, потом пошли в ход пачки старых, пожелтевших и растрепанных книг, вытащенных из-под дивана Глеба. Как потом оказалось, это была старинная химическая библиотека деда Сифферлена, о чем очень жалел Всеволод и, упрекнув меня, выразился, что лучше бы я сожгла новенькие томики советской энциклопедии. Ну, тогда у меня не было времени и охоты рассматривать, что мы жгли! Со стороны Химок уже доносился орудийный гул, немцы подходили к Москве...

Температура в комнате по утрам опускалась до +3° Цельсия, а днем поднималась очень немного, так что мы

сидели на кухне в шубах, валенках и сшитых из сукна и ваты чулках, на которые надевались мелкие галоши. Спали мы по двое: мама с Таней, я с Костей, не раздеваясь из-за «воздушных тревог» сначала, а потом – из-за холода. Наваливали на себя сверху одеяла шубы, теплые вещи и даже матрасы на ноги. Днем сидели, главным образом, на кухне, подтапливая чем-нибудь плиту. В середине первой военной зимы нам с Таней с трудом удалось достать за водку дров, и тогда мы поставили в комнате железную печку-буржуйку и готовили на ней. И грелись около нее. Все же у нас работали водопровод и уборная, а у других и этого не было!

На следующий год мы достали больше дров (целый грузовик бревен заранее опять же за водку и табак). Сложили кирпичную печку, даже с духовкой и жили более комфортабельно. Но зато у нас в комнате стало теснее: весь огородный урожай – мешки с картошкой, морковью и свеклой стояли тут же, запас дров – несколько кубометров – тоже в углу. К весне 1942 г. прибавились книги дяди Степана Борисовича, сложенные до потолка за отодвинутыми шкафами.

Всю первую зиму мы не купались, только споласкивали холодной водой лицо и руки. Все бани в Москве не работали, а дома было совершенно невозможно помыться из-за холода и неимения горячей воды. Зато какое это было торжество и блаженство, когда уже к весне, наверное, в марте, была открыта краснопресненская баня, и мы втроем, я, мама и Таня, пошли туда, поручив Костю какому-то мужчине, чтобы он тоже помылся в мужском отделении. Раздевшись догола, мы впервые увидели свои исхудавшие тела с сухой и тонкой кожей, без признаков подкожного жира. Как мы плескались и грелись, какое это было блаженное ощущение!..

* * *

Ко времени обратного вселения Всеволода в Ново-Гиреево умерла старуха Матрена, он занял и оформил ее комнату. Таким образом, у них получилось 4 небольших совершенно изолированных от соседей комнаты вокруг большой печки-голландки. Правда, за войну все пришло в упадок: водопровод замерз и не работал, воду носили из уличной колонки, уборная тоже не работала, доставать дрова было очень трудно и дорого.

Квартира на Б. Калужской, 13 стояла до конца войны так и не отстроенная. Когда Степан Борисович вернулся из эвакуации в начале лета 1943 г., то он поселился не в Ново-Гиреево, а на Пятницкой, 12, в доме Академии наук. В этой большой и благоустроенной квартире жила до того семья проф. Кирсанова, который умер в эвакуации. Жене и двум дочерям пришлось «самоуплотниться». Познакомившись в Ташкенте с семьей академика Веселовского и оценив очень покладистый характер Ольги Александровны, они уступили им две хорошие комнаты 24 и 18 метров и большую светлую переднюю с отдельным ходом, но поставили условие совсем не пользоваться кухней и не стирать белья в ванной комнате.

После Гранатного и Ново-Гиреево жилище это было очень хорошим и удобным. Здесь Степан Борисович прожил 5 лет до 1948 г., когда он получил в дар от правительства комфортабельную дачу в поселке Академии Наук «Луцино» под Звенигородом. На этой даче он прожил безвыездно еще 4 года до своей смерти в январе 1952 г.

1-я Мещанская

После окончания войны и возвращения Бориса Степановича к семье, Наташа соединилась с матерью Александрой путем обмена усачевской комнаты и комнаты на ул. Маркса-Энгельса на две смежные (около 40 м^2) на 1-й Мещанской 9, кв. 21. Квартира была густонаселенная, грязная, с массой клопов. За свой счет мы сделали ремонт – кроме своих комнат еще и мест общего пользования: кухни, ванной комнаты, уборной и коридора. От этого обстановка в квартире улучшилась с внешней стороны, но, по существу, мало что изменилось: те же некультурные, завистливые и злобные соседи, как на Гранатном. Ни мира, ни лада между собой, постоянные ссоры из-за копеечных расчетов за электричество, газ, уборку по очереди и т. п., доходящие до нецензурной ругани, задирания юбок и показа голого зада враждебной стороне.

Семья Никитиных – муж, пьяница, шофер грузовика, которого мать и жена втаскивали с лестницы в бесчувственном виде, били и щипали, пока он не мог им сопротивляться, а когда он был только «выпимши», то гонялся за женой по квартире, а она выскакивала на лестницу и кричала «караул»... Жена его, продавщица продовольственного магазина, воровала и тащила сумками всякую снедь. Наконец она попалась, и была осуждена на 8 лет, но пробыла там недолго, около года, вернулась по амнистии, «как мать, имеющая ребенка до 8 лет».

Отношение их к воровству и тюрьме отчетливо выразилось в следующих выражениях свекрови: «Дура, не сумела сунуть инспектору! Всегда надо иметь при себе деньги и на такой случай». А сама потерпевшая выражалась: «И в

тюрьме можно жить, только вот соседи потом ругают каторжной».

Другая семья, жившая в отгороженном светлом углу в 6 м^2, проходной передней парадного входа, состояла из бывшей домработницы хозяев этой квартиры Екатерины Сауниной, ее матери-старухи и племянника лет 14, отец которого погиб на фронте. Екатерина – алкоголик и наркоманка – имела бурное прошлое официантки дальневосточных поездов. В это время она была уже пенсионеркой, на учете в психдиспансере и на учете, как хроник по дизентерии. Мать свою она посылала просить милостыню на паперть церкви при Крестовском кладбище и, если она приносила недостаточно для очередной выпивки, то избивала ее, однажды даже сломала ей руку у кисти. Тетка племянника-ремесленника развратила курением, выпиванием и довела до тюрьмы: он попался на воровстве – ограблении квартир вместе с другими ребятами из ремесленного училища – и был осужден и провел несколько лет в лагере для несовершеннолетних преступников. Сама она после очередного запоя и пребывания в психбольнице «Матросской Тишины», повесилась в своей комнате, чему, откровенно говоря, были рады все: и соседи по квартире, и по дому, и даже в окрестном околотке и в отделении милиции – так она всем надоела своими скандалами и попрошайничанием. Мать ее устроили в инвалидный дом, племянник был в тюрьме, а комнату тут же заселили другой семьей из аварийного дома – железнодорожник с матерью. Эта старуха была не лучше: ханжа-святобожница и сплетница, она всячески стремилась стравливать соседей и ссорить их. Прожив несколько лет в нашей квартире, она внезапно умерла в присутствии сына, за 1–2 часа, по-видимому, от обширного инфаркта.

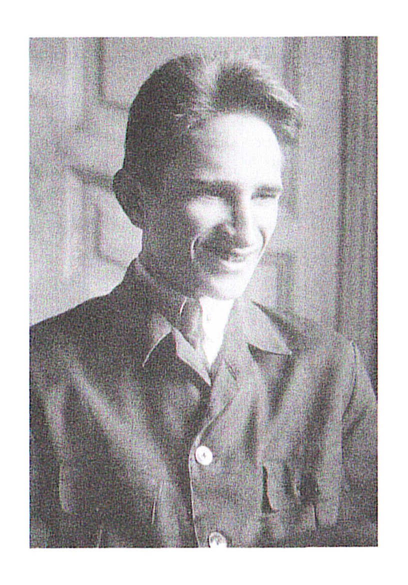
О ней мало кто пожалел, а обстановка в квартире стала легче. Третья наша соседка, старуха Морозова, бывшая домработница хозяина всей этой квартиры, присяжного поверенного, занимавшего до революции всю эту пятикомнатную квартиру. После революции и смерти хозяина квартира стала заселяться чужими людьми. Хозяйке с прислугой остались 2 смежные комнаты в 28 метров. Прислуга поступила работать уборщицей в какое-то учреждение. Обе старухи жили ее заработком и продажей вещей. Когда умерла и бывшая хозяйка, то старуха-пенсионерка стала пускать себе жиличек за плату, но без прописки. Когда мы въехали сюда, у нее жила женщина средних лет, следователь или прокурор, которая защищала права старухи и не допускала уплотнять ее или куда переселять. Между ними было полное взаимопонимание и взаимовыручка: когда прокуроршу навещали ее «приятели»-мужчины, то Анна Яковлевна шла гулять и подолгу сидела на лавочке во дворе, дожидаясь, когда уйдет посетитель. Через несколько лет эта прокурорша куда-то исчезла, а Анна Яковлевна взяла себе опекуна-мужчину и вместе с ним сменяла свои две комнаты на одну, взяв хорошую приплату. На ее место въехала семья Андреевских: муж – художник дома моделей, плакатчик, оформитель выставок, инвалид войны с изуродованной кистью руки. Жена, по ее словам, – врач-стоматолог и мальчик лет 5-ти. От этой негодной женщины мы имели много неприятностей: сначала, опасаясь расторжения своего обмена, т. к. соседям были известны купля-продажа, она вела себя тише воды, ниже травы. Затем, осмелев, стала заводить и поддерживать склоки и ссоры, возбуждаемые старухой-ханжой. Она нигде постоянно не работала, но все обделывала какие-то дела с лекарствами, очевидно, с заднего хода баз и аптек, к ней постоянно звонили и приезжали из Фрунзе и других городов по

поводу каких-то темных дел. Вскоре она переселилась в другую квартиру нашего же дома, и у нас стало тихо и дружно. Вместо нее поселилась семья шофера с женой-продавщицей продуктового магазина и двумя девочками.

К этому времени и Никитины сменялись, вместо них поселилась семья Афанасьевых: вдова капельдинера Московского Художественного театра с двумя дочерьми, зятем и внуками. Эта простая рабочая семья вела себя вполне достойно и дружелюбно, тяжело было только их количество: 6 человек на 24 метрах. Через несколько лет, когда родился третий внук, им дали от работы квартиру в 3 комнаты; осталась одна из дочерей, незамужняя, с которой у нас были нормальные, добрососедские отношения и никаких недоразумений.

Когда Саша служил в армии (1965–1968 гг.), мы уговорили старшего сына Костю, работавшего научным сотрудником в ГИАПе, воспользоваться вступлением в жилищно-строительный кооператив и получить однокомнатную квартиру на 4 этаже дома-башни незадолго до возвращения из армии Саши. Придя из армии Саша вскоре женился, он поступил учиться в фармацевтический институт, мы стали думать об устройстве молодых у себя. Я стала усиленно искать возможности купить кооперативную квартиру, и, наконец, в мае 1970 г. нам это удалось. Я вступила в кооператив «Изыскатель-2» и получила 3-комнатную малогабаритную квартиру в 34 $м^2$ на нас трех стариков: маму, Александру Васильевну, меня и мужа, Бориса Степановича.

МОЙ БРАТ БОРИС



1911 – 1943

Одного у меня много – веры в абсолютную справедливость, рациональность всего происходящего. Мы заслужили, и теперь закон причинности заставляет платить по векселям...

3 ноября 1942 г.
Из письма Бориса (Веселовского) матери
перед отправкой на фронт

Детство

Боря родился 27 февраля старого стиля 1911 г. в маленькой квартирке на Дворянской улице уездного города Балашов Саратовской губернии. Отец наш был там многие годы председателем Уездной Земской Управы, мать – преподавательницей литературы в женских и мужских гимназиях. Жили скромно, снимая у хозяина небольшой домик с садиком.

Назван был Боря в честь дедушки Бориса Степановича Веселовского. Хорошо помню его золотой крестик на голубой ленточке. Он долгое время сохранялся, а я, глядя на него, обижалась, почему у меня не такой же золотой, а всего только большой серебряный с цветной эмалью, купленный моей крестной матерью, – бабушкой Леонидой Степановной.

С первых дней жизни Боря был на попечении доброго гения семьи Веселовских – старой няни Дарьи Николаевны Чвановой, бывшей крепостной, которая вынянчила 12 детей нашей бабушки Леониды Степановны и продолжала свое дело – ухода и воспитания многочисленных внуков. Ей в помощь из пригородной деревни Дурникино была взята рыжая девочка-подросток лет 15-ти – Верочка, которой она руководила и приучала к чистоте и порядку.

К весне 1911 года у нашего отца был обнаружен туберкулез позвоночника. Ввиду папиной болезни и необ-

ходимости длительного постельного лечения и пребывания на свежем воздухе было решено, что он оставит службу в Земстве и поселится с семьей в имении, которое дедушка завещал пяти сыновьям. В начале зимы 1912 года состоялся наш переезд в Лунино, поселились в большом кирпичном доме со многими комнатами. Отец лежал в своей гипсовой кроватке не вставая. А мать занималась уходом за ним, детьми и домашним хозяйством. У родителей не было никаких денежных накоплений: оставив службу, отец не получал пенсии, мать тоже лишилась своего заработка. За наблюдение за общим сельским хозяйством до раздела братья положили лежащему больному совладельцу 500 рублей в год.

Сохранилось несколько фотографий этого лунинского периода нашей жизни. Боря рос здоровым, спокойным, но деятельным ребенком на деревенском просторе под наблюдением матери и няни. Полем его «деятельности» был громадный сад-парк с прудом и хозяйственный двор с многочисленными животными: лошадьми, собаками, коровами, телятами, курами, утками и прочим. Товарищами были многочисленные мальчишки – дети служащих имения.

Помню однажды, будучи лет трех, Боря подошел к старой спокойной лошади-водовозке, стал ее трогать и потянул за хвост. Она его лягнула, удар пришелся по голове, его притащили всего окровавленного в дом, мама его перевязала и лечила рану надо лбом. К счастью, удар был несильный, пришелся вскользь, кость не была повреждена, не было и сотрясения мозга.

Позднее, когда ему было уже 5 лет, ранней зимой 1916 года он гулял с няней и с сестрами (Таня 3-х лет, Рина 1,5 года) в саду около пруда. Пруд уже замерз, у берега оставалась только «полынья» для уток, затянутая тонкой ко-

рочкой льда. Боре было необходимо и крайне интересно испробовать ее крепость. Он опустился на лед, подошел к полынье, топнул ногой и… провалился. К счастью, он повис на подмышках растопыренных рук, зацепившихся за края проруби, кроме того, его еще поддерживали завернувшиеся полы мехового тулупчика – шубки с широкими сборами от пояса. Няня бросилась ползком по льду, вытащила Борю и принесла его мокрого в дом. Этот случай тоже закончился благополучно.

К началу войны 1914 года отец уже ходил в специальном корсете по дому и по имению и часто ездил в шарабане в поле для наблюдения за работами. В хорошую погоду он всегда брал детей с собой, и Боря, конечно, всегда ездил с ним повсюду.

Зимой главным удовольствием было катание с гор на салазках или лучше – на «ледянках-говняшках». Бралось старое решето с соломой, обмазывалось навозом со снегом, обливалось водой на морозе, к нему же примораживали и веревочку, чтобы втаскивать ледяшку в горку для следующего скатывания. Ни лыж, ни коньков у нас в то время не было.

После февральской революции в деревне стало неспокойно, и мы к осени перебрались в уездный город Балашов, где сняли на окраине домик в 4 комнаты, захватив с собой мебель и большой запас продуктов. Мама поступила учительницей в женскую гимназию, Наташа была принята во второй класс. Боря оставался еще дома, с ним на дому занималась английским учительница Кларисса Валентиновна.

Зима прошла относительно спокойно, нас не трогали, хотя в городе было тревожно, жизнь дорожала, в магазинах и на рынке пропадали продукты. В имении весь скот

и хлеб были взяты на учет, им распоряжался комитет бедноты. Зима была холодной и тревожной, но на детях это пока заметно не отражалось, хотя и не было привычного деревенского простора.

Лето 1918 года вся семья провела в городе, папа посадил во дворе за сараями небольшой огород, где играли Боря и маленькие сестренки. В городе чем дальше, тем более становилось беспокойнее: шли обыски и реквизиции продуктов у «буржуев», аресты и расстрелы. Многие наши соседи-помещики и папины сослуживцы и друзья спешно уезжали из города, «с глаз долой». В августе и папе пришлось скрытно уехать налегке в Москву к матери и братьям.

В сентябре с началом учебного года Боря поступил в первый класс бывшего коммерческого училища, преобразованного в Единую трудовую школу, но разруха разрасталась с каждым днем, и занятия скоро прекратились.

В городе становилось все тревожнее, проходили какие-то войска, кто-то отступал, кто-то занимал…Газет не было, питались слухами. Как-то был бой под городом, и затем привезли убитых «красных комиссаров». Похоронная процессия растянулась по улицам, все жители высыпали смотреть на ряд гробов, затянутых красной и черной материей. Впереди – военный оркестр, играющий траурные марши, «Интернационал» и другие революционные мелодии. Перед оркестром – толпа возбужденных мальчишек, а в первых рядах – наш Боря, размахивающий руками в такт музыке, в шапке-ушанке с подпрыгивающими полями. Пришлось мне вмешаться и извлечь его из процессии, чему он, понятно, сопротивлялся.

В ноябре как-то ночью у нас был обыск и выселение, все вещи были переписаны, шкафы и сундуки опечатаны, нам «выдали», т. е. разрешили взять малое количество

самого необходимого. Утром мы все это увезли на двух ручных тачках к приютившим нас знакомым. Мама писала в Москву отчаянные письма. Отец в начале декабря пытался приехать в Балашов, чтобы так или иначе забрать нас всех с собой. На одной из пригородных станций его увидели доброжелательные знакомые и сняли с поезда, уговорив не ехать дальше, даже не показываться в городе, где ему грозил безусловный арест и расстрел. Они же известили маму и вызвали ее к нему. В то время было очень нарушено железнодорожное движение, а в пути работали заградительные отряды, так что уехать нам всем не было никакой возможности. Родители это поняли. Мама вернулась в Балашов, а отец поехал обратно в Москву. Его обратный путь продолжался около 2-х недель (вместо 1,5 суток в мирное время!) в холодной «теплушке», т. е. в товарном вагоне, набитом людьми до отказа. Поезда или стояли сутками на станциях или в поле, или шли без всякого расписания. Папа питался сырым пшеном и снегом вместо воды. В пути он заразился сыпным тифом. Приехав в Москву, вскоре 28 января умер на руках своей матери, которая похоронила его на кладбище Ново-Девичьего монастыря. Мы приехали на его могилу только через два с половиной года, осенью 1921.

ПОВАЛИЩЕВО

После нашего обыска и выселения мама решила уехать из города, она как учительница выхлопотала себе перевод в 4-х классную деревенскую школу деревни Повалищево, в 7-и верстах от нашего имения. Жили мы там в крошечной квартирке при школе: 2 комнаты по 5 метров и кухня с русской печкой. Боре поставили кровать на

кухне за дверью. Занятия шли в одну смену в единственной классной комнате. Одновременно занимались новички-первоклассники и дети 2-го, 3-го, 4-го года обучения с одной учительницей. Первую зиму Боря занимался со средними по возрасту, а затем со старшими и прошел, таким образом, 4-годичный курс сельской школы. На второй год мама присоединила его заниматься к двум старшим мальчикам, уже окончившим эту школу и хотевшим учиться дальше.

Жизнь семьи была трудной, но очень дружной, такой она сложилась тогда и осталась в дальнейшей жизни до самого конца.

Несмотря на трудные условия жизни и недостаточно калорийное питание Боря рос крепким, здоровым и активным, любознательным мальчиком, коноводом в играх деревенских ребят. Однажды летом он купался с компанией в деревенском пруду, где поили стадо коров. Плохо плавая, он стал тонуть. Помог ему и вытащил один из двух старших мальчиков, с которыми он вместе занимался у мамы. Долго ничего об этом нам не было известно, пока кто-то из них не проговорился.

Другой случай был весной 1920 года. Во время бурного таяния снега глубокий овраг около школы наполнился быстрым потоком воды. Ребята, включая и Борю, окончив школьные занятия, собрались на берегу и играли, пуская самодельные кораблики, доски, щепки и т. п. Боря сорвался и с лавиной снега очутился в ледяной воде. Хотя там было неглубоко, но течение сильное. Он барахтался и кричал: «Не говорите маме!» ...Опять-таки его вытащили старшие мальчики.

В 1920–1921 годах в соседней Тамбовской и в нашей Саратовской губерниях возникло антоновское движение

против Советской власти. Мальчишки, в том числе и Боря, были самыми заинтересованными и активными зрителями. Они мгновенно узнавали, кто и что, кто командир, куда едут и т. д. Было очень трудно удерживать Борю в его активности, он вертелся около всадников вместе со своими товарищами и всем интересовался. Антоновцы знали, что учительница – из семьи бывшего помещика. Они заходили в школу и однажды даже сделали попытку узнать у мамы, кто у нас коммунисты и где они. Всего они были в нашей деревне 23 раза.

Однажды Боря наблюдал с чердака «настоящее сражение» с пулеметной стрельбой, погоней, и с восторгом рассказывал нам про эту «войну», конечно совершенно не понимая ни причин, ни трагизма происходящего.

К весне 1921 года наше положение значительно ухудшилось: уже с половины зимы школа была закрыта из-за полного отсутствия топлива. Мы выселились – мама с Борей в избу к одному из учеников, а три девочки в соседнюю деревню к старым знакомым родителей. Разграбленная волость прекратила выдачу пайка, присылаемые из Москвы деньги совершенно обесценивались во время длительной пересылки, на них ничего не продавали, требуя в обмен за продукты только вещи, которых у нас не было. Вся обстановка требовала решиться на что-то радикальное. Мать и братья отца звали нас к себе, обещая помочь устроиться. Мы мечтали учиться в настоящей московской школе.

Татариновка

С громадными трудностями и лишениями мы добрались до Татариновки – подмосковной дачи дяди Степана

Борисовича Веселовского, младшего брата нашего отца, у него же жила и наша бабушка Леонида Степановна. Это путешествие храброй от отчаяния женщины с четырьмя детьми (5, 7, 9 и 15 лет) в условиях полной разрухи на железнодорожном транспорте подробно описано мной в другой части моих воспоминаний. Пробыв в дороге около 2-х недель, «хватив лиха» в достаточной мере, мы очутились в непотревоженной семье дяди-профессора, сохранившей кроме московской квартиры еще и благоустроенную подмосковную дачу в 10 комнат, с садом, огородом, большим пчельником и участком поля и покоса. Вся его семья (9 человек + 3 на кухне) сохранила в основном свой старый быт, хотя и принуждена была сама своими силами вести свое сельское хозяйство. На таких условиях, без применения наемного труда, дача эта была оставлена профессору по персональному списку, подписанному Лениным.

Нам была выделена большая теплая комната, начались усиленные занятия. Два старших мальчика Юра и Игорь и присоединившийся к ним Боря были по своим знаниям почти равны, т. к. до этого Боря систематически занимался с мамой. Он был гораздо моложе их, это задевало их самолюбие, и они старались учиться. Жизнь в деревне с неизбежными трудовыми нагрузками им надоела, и они стремились перебраться в Москву, для чего надо было выдержать экзамены и поступить в школу. Вскоре к ним присоединился еще один 15-летний двоюродный брат Илюша, сирота от старшего брата отца, которого тоже приютил дядя.

Занятия проходили с утра – с перерывом на обед – очень интенсивно, затем ежедневно мальчики занимались заготовкой дров для отопления многочисленных печей: вали-

ли деревья недалеко от дома, распиливали и раскалывали их, таскали в сарай и в дом. Работали все под руководством дяди, и всем находилось дело по силам. Боря, конечно, тоже участвовал в этом занятии на свежем воздухе. Кроме того, все много читали, у дяди было много книг для юношества.

Пропитание такой многочисленной семьи было очень затруднительно, профессорский паек был каплей в море, выручало свое хозяйство: две коровы, куры, поросенок, а главное, огородные продукты. Хлеба было мало: каждому 3 раза в день выдавалось по небольшому кусочку черного ржаного с большой примесью картошки. Никогда ни ранее в деревне, ни потом мы не ели такого плохого хлеба. Зато в картошке вареной и печеной не ограничивали. Блюдце меда 2 раза в день скрашивало наш желудевый кофе, почти без молока, и морковный чай, а основной едой являлась все та же картошка.

Так в культурной и дружественной обстановке, в тепле и усиленных занятиях прошла зима. Весной все учащиеся выдержали экзамены, мама стала устраиваться в Москве, школы еще не работали, и она пока поступила заведующей в детский дом в Сокольниках. Взять с собой всех детей она не смогла, т. к. паек давался только на двух иждивенцев. С ней поехали две младшие девочки, а Наташа и Боря остались в Татариновке у дяди. Чтобы оправдать свое пребывание и питание Наташа (16 лет) усиленно работала на огороде, Боре (11 лет) пришлось пасти двух коров. Сначала предполагалось, что он будет чередоваться с 15-летним Игорем, лентяем и ловчилой, которого было совершенно невозможно использовать на основной работе со старшими братьями. Но Игорь и тут, на пасьбе, вел себя так безответственно, что, в конце концов, на него махнули рукой, и Боре пришлось одному пасти коров.

Иногда он брал с собой книги и читал, пристрастился к строганию и вырезанию узоров на палочках, деланию дудочек, из которых извлекал незамысловатые звуки. Такое усиленное постоянное пребывание на свежем воздухе, купание в пруду и улучшившееся летом питание хорошо влияло на Борино здоровье, он окреп и загорел до предела. Сознание, что он трудится с пользой для всех, вкладывает свою долю в общую работу и оправдывает свое питание и пребывание у дяди, воспитывало в нем ответственность и трудолюбие. Плохой пример Игоря не мог на него повлиять. Хотя Боря был младшим среди своих двоюродных братьев, он не поддавался их влиянию, умел отстоять свое особое поведение. Он никогда не участвовал в дразнении старухи-бабушки. Летом 1922 года он проявил даже известное геройство в споре с Игорем. Дело в том, что находясь целыми днями в лесу и на полянах, он находил шмелиные гнезда и с интересом наблюдая за жизнью шмелей, для чего стал переносить соты ближе к дому и помещать их в самодельные ульи из кирпичей, дощечек и щепочек. Юра и Игорь поспорили с ним, что он побоится укуса шмеля и не посадит его себе на лицо. Боря доказал свою неустрашимость тем, что, действительно, посадил шмеля себе на переносицу и держал его, пока не последовал укус. Уже к вечеру лицо сильно опухло, глаза спрятались в узкие щелочки, он ходил ощупью, но не унывал. Сначала все думали, что это случайный укус, но правда вскоре выяснилась – проговорился малолетний свидетель Глеб. Наташа и бабушка клали Боре холодные примочки, но опухоль держалась 3 дня и даже с высокой температурой. Боря дал слово, что больше так делать не будет.

Поведение двоюродных братьев, Юры и Игоря, с которыми Боря учился и жил, очень отличалось от тех норм

поведения, к которым он привык в своей семье. Детство их прошло в Москве, в обстановке богатства, с боннами и репетиторами. Сами родители мало занимались их воспитанием: отец – в своем кабинете за учеными трудами, мать – хрупкая, изнеженная – никогда не соприкасалась с трудностями жизни.

После революции с переездом в деревню они были предоставлены сами себе еще более. Игорь и в Москве, добиваясь больших удовольствий и лакомств, часто лукавил, перед братьями. Если ему не удавалось выклянчить деньги у матери, то он просто крал у нее или у отца, пользуясь примером старшего брата Евгения, который приспособился залезать в запертый письменный стол отца, приподнимая ножом крышку. В Татариновке Игорь обкрадывал кладовку и погреб, брал хлеб и мед, выпивал молоко, сметану, да еще хвастался своей ловкостью. Нам все это было дико. Игорь же украл несколько наших детских книг, с таким трудом привезенных из Саратовской губернии и нагло заявлял, что «не пойман – не вор».

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

За лето мама подыскала себе работу в московской школе, а две небольшие комнаты, в том числе одна ванная комната, предоставила нам в своей квартире в Шведском переулке в порядке самоуплотнения тетя Нина, старшая сестра папы. При нашем переселении в Москву дядя выделил нам большое количество «заработанных» огородных продуктов, которых нам хватило на всю эту первую московскую зиму.

Школа, в которой мама стала работать, а мы четверо учиться, была только что организована в качестве «опытно-

показательной имени В. Г. Короленко при Наркомпросе». Костяк ее преподавателей составился из группы учителей бывшей частной женской гимназии В. П. Потоцкой, а сама она стала ее заведующей и преподавателем французского языка. Боря был принят в 4-ый класс. Он быстро освоился с занятиями, т. к. был хорошо подготовлен матерью и приобрел себе много товарищей среди сверстников. Такие его друзья, как Миша Сытин и Володя Муромов, оставались его друзьями долгие годы.

Рабочий день семьи складывался так: после скромного завтрака мать и девочки вместе отправлялись в школу пешком. Хотя трамваи уже стали ходить, у нас не было денег на билеты. Боря выходил позднее, пока мы шли бульварами, он прицеплялся к трамваю «А» и перегонял нас верхом на заднем буфере, держась одной рукой за «колбасу», т. е. за толстую веревку от трамвайной дуги, другой махая нам и торжествующе крича. Очень скоро мама запретила ему такой способ передвижения.

По окончании школьных занятий возвращались домой, обедали и садились за приготовление уроков. Занимались усердно, заинтересованно, очень следили за успехами друг друга, помогая в домашних заданиях. Боря ежедневно следил за младшими сестрами, переживая их неудачи и радуясь успехам. В свободные часы сестренки играли во дворе или шли под предводительством Бори на Тверской бульвар, где он всегда следил, чтобы никто не обижал сестер и заступался за них.

Вскоре у Бори появились старинные коньки «Нурмис», которые он прикреплял к валенкам и с увлечением катался на них по переулкам и на бульваре. В последующие годы у него были уже коньки с ботинками, и он регулярно катался по абонементу на Петровском катке, где играла музыка.

В середине 20-х годов, когда Боря был примерно в 5-6 классе, в Москве существовала организация бойскаутов. Боря проник в нее, привлеченный возможностью грядущих организованных походов, спортивных упражнений и соревнований, путешествий и т. п. Помню его энтузиазм, когда он нам рассказывал, что и как ему предстоит сделать и где побывать. Мы помогали ему в подготовке. Все это очень быстро кончилось, не успев развиться – бойскаутская организация была разогнана.

В то время в нашей школе не было ни пионерской, ни комсомольской организаций, они стали организовываться позже, когда Боря уже заканчивал школу, и, таким образом, он миновал участия в них.

Будучи организованным и дисциплинированным мальчиком, Боря принимал активное участие в школьной жизни, в том числе в выпуске стенной газеты, которую он не только оформлял, но и давал в нее рисунки и заметки.

Тяга к природе и свободным прогулкам росла в нем с каждым годом. Подрастая, уже лет 14–15 он пристрастился к дальним походам по Подмосковью на 2–3 дня с ночевками в лесу, с кострами. С товарищами, чаще всего с Володей Муромовым и Мишей Сытиным, он отправлялся пешком с рюкзаком в дни каникул и праздничных дней. Эти походы вошли в традицию и повторялись ежегодно, их радиус и продолжительность все нарастали. Окончив школу и уже работая, Боря ежегодно проводил отпуск на Волге, в Крыму, на Кавказе, на Алтае, чаще всего находясь в составе самодеятельной группы.

Поездки летом

Лето 1923 года мы все прожили в Татариновке, но уже отдельной семьей. Мать имела несколько уроков с детьми

из деревни, за которые родители-крестьяне расплачивались молоком, яйцами и другими продуктами. Следующее лето мы также провели в Татариновке, но на лето 1925 года собрались поехать в Пензу к сестре мамы – тете Маше. Боря 14-и лет и две сестры 12-и и 10-и лет были усажены в вагон, и хотя матерью все трое были поручены присмотру соседки по вагону, это не мешало Боре чувствовать себя ответственным, старшим над девочками. За лето Боря выучился чертить и рисовать разными шрифтами буквы на плакатах и лозунгах, что очень ему пригодилось в дальнейшем.

Лето 1926 года провели опять в Татариновке, но опять отдельно семьей. Это было последнее лето, проведенное нами в Татариновке.

Летом 1927 года Боря увлекся вырезанием фигурок из дерева, за лето он вырезал себе полный комплект шахмат и увлеченно изучал основы игры. При возвращении в Москву он начал посещать шахматную секцию при Доме РАБПРОСа (рабочего просвещения – *А. М.*) в Леонтьевском переулке. Там на этой почве он познакомился и подружился с Игорем Нечаевым, сыном профессора-психолога. Это знакомство продолжалось все последующие годы, Игорь познакомился с Бориными матерью и сестрами и вошел в его семью, как постоянный и непременный ее член.

ПОПЫТКИ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ

Весной 1928 года Борис окончил химические спецкурсы при московской школе №32. Он стал усиленно готовиться к экзаменам в Университет. В те годы 95% мест предоставляли рабочим со стажем, прошедшим через раб-

факи, и принимали их без экзаменов. Только 5% оставалось для интеллигенции – служащих и их детей, со строгим социальным отбором и конкурсными экзаменами. Дети профессоров принимались в первую очередь в счет этих 5%. Борис был сыном рядовой учительницы и не имел трудового стажа. О дворянстве отца приходилось умалчивать. Вероятность попасть в эти 5% была ничтожна, но Боря надеялся пройти по конкурсу.

Осенью того же года он сдал все экзамены на пятерки, но не был принят «за отсутствием мест».

В середине зимы был объявлен дополнительный набор, Борис опять держал экзамены, и повторилось то же.

Боря уже тогда хорошо понимал, какие препятствия стоят перед ним на пути к высшему образованию. Не оставляя мысли о получении его в дальнейшем, он временно занялся заработком, совмещая его с занятиями по подготовке дома и на платных подготовительных курсах Коган-Шабшая. Наш близкий знакомый, папин сослуживец по Балашовскому земству, Владимир Дмитриевич Мачинский, крупный инженер-строитель, давал Боре чертежную работу на дом и платил за это 100 рублей в месяц. Боря чертил и усиленно занимался. Так прошла зима.

Осенью 1929 года повторилась в 3-й раз та же история: все экзамены сданы на 5, и опять не принят за отсутствием мест.

Наш дядя Степан Борисович Веселовский был профессором Московского Университета и членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Все его сыновья – Всеволод, Евгений, Борис и Георгий – учились в разных московских институтах. В то время еще придерживались традиции предоставлять детям ученых некоторые льготы. Видя, что племяннику никак не удается поступить в Университет, и

желая помочь ему в этом, он предложил маме усыновить Борю, и, таким образом, дать ему возможность получить высшее образование.

Меня в этот момент не было в Москве, я уже работала врачом в Наро-Фоминске. Приехав на выходной день в Москву, я услышала от мамы о предложении дяди и была ему очень рада. Боря же прямо загорелся такой возможностью, но мама сказала, что она уже отвергла предложение дяди, как недостойное для себя и Бориса. «Как можно отказаться от родного отца?» Я спорила с мамой, что в наших условиях надо использовать любую возможность для получения образования, тем более, что никакого «отказа от родного отца» не было, это была бы простая формальность. Надо славировать, скрыть дворянское происхождение. Мама настаивала на своем и очень огорчалась нашим доводам. Боря видел это и, жалея мать, хотя и не соглашаясь с нею, принужден был отказаться от предложения дяди.

Это была ужасная, непоправимая ошибка, и она в дальнейшем оказала трагическое влияние на судьбу Бориса. После всех неудач Боря решил пойти другим путем: заработать себе «рабочий стаж» и тогда через 2-3 года поступить в числе 95%.

ВИМС

При содействии двоюродного брата, Всеволода Степановича Веселовского, химика Всесоюзного института минерального сырья (ВИМС), он поступил 2-го сентября 1929 года чернорабочим на химический завод в Кудинове под Москвой, который был опытной базой ВИМСа. Через неделю его сделали бригадиром, а через пару месяцев перевели лаборантом в институт в Москву. Здесь в техноло-

гической лаборатории Стефана Петровича Камецкого он проработал 3 года, постепенно продвигаясь по служебной лестнице лаборанта, техника, а затем химика. Одновременно он усиленно занимался самообразованием дома, на различных курсах и семинарах, на лекциях в Университете. В эти же 3 года Борис начал выполнять различные задания академика Эдгара Викторовича Брицке, который высоко ценил Борины способности и в дальнейшем стал его непременным руководителем и покровителем.

В 1932 году Борис перешел в другую, термическую лабораторию ВИМСа к проф. Анатолию Федоровичу Капустинскому и стал заниматься по термодинамике. Он своими руками создал установку для калориметрии, проводил на ней опыты, писал статьи и печатался в русских и немецких журналах.

В то же время мать и сестры Бориса жили на 11 кв. м., а сам он в темной, отгороженной только книжными шкафами части проходной комнаты со злобными и некультурными соседями. В такой обстановке, тяжелой для жизни и особенно для учебной и научной работы на дому, Борис прожил с матерью и сестрами более двух лет.

У него на работе еще в 1932 году образовался жилищно-строительный кооператив, в который он сразу записался, но попал во вторую очередь. Каждый месяц приходилось вносить по 100 рублей, что в то время было для нас очень трудно при все возрастающей дороговизне жизни. Всего было внесено около 3-х тысяч рублей, но получили квартиры только те, кто попал в первую очередь. Потом строительство было прекращено, кооператив ликвидирован, а мы получили только «рожки да ножки», т. е. 2,5 тыс. руб., к тому времени очень обесцененные.

Интенсивная работа, тяжелые жилищные и материальные условия сказались на здоровье Бориса. Сохранилось письмо сестры Наташи мужу от 12.03.1933 г.:

«...Вчера рано утром, часов в 5, прибежала с Гранатного Таня – внезапно заболел Бориска. Мы с мамой отправились туда, она там осталась и сама расхворалась, оба лежат. Борис свалился от страшного переутомления, последние недели питался только в институте, а работал там же до позднего вечера и, придя домой, ежедневно до 2–4 часов ночи писал. Вчера ночью с ним был глубокий и длительный обморок с парезом кишечника и мочеиспусканием. Сейчас страшная слабость, лежит, шумы в сердце, сердцебиение. У мамы – ее обычное заболевание… Вчера вечером у него на Гранатном был Капустинский, а сегодня мне мама сообщила по секрету, т. к. Боря не любит предварительных разговоров, что он все это время работал над тремя статьями по физической химии и две уже в наборе, а третья почти готова. Кроме русских журналов, они все будут напечатаны целиком в германских журналах. Ты представляешь, как сияет мама! Еще бы, Борькино имя будет стоять рядом, т. е. «за академиком Брицке»!.. Конечно, это уже успех, но еще не финал, а только начало. В настоящий момент ему надо отдохнуть, т. к. кроме занятий и статей он брал еще на дом халтуру: плакаты и т. п. и сидел за ними ночами…»

Лишь в 1934 г. после того, как дядя сменялся за город в Новогиреево, а семья Наташи вынуждена была уехать в провинцию в город Мелитополь, Борис наконец перебрался в 11-метровую изолированную комнату с окном и почувствовал себя человеком. Там он прожил еще 4 года, пока вторая сестра Татьяна, выйдя замуж, переехала к мужу. Тогда Борис поменялся площадью с младшей сестрой

Ириной, а сам перебрался к матери, где и жил с ней до ухода в армию в августе 1942 года.

В начале 1934 года по ходатайству Э. В. Брицке, проф. В. К. Семенченко и проф. А. Ф. Капустинского решением Аттестационной комиссии ВИМСа Борис был утвержден в должности младшего научного сотрудника-химика с окладом 275 рублей, несмотря на отсутствие диплома о высшем образовании. При содействии академика Э. В. Брицке, который дал блестящую характеристику и хлопотал, Боря сделал еще одну попытку оформить свои знания и положение, для чего подал заявление на химический факультет МГУ. Он хотел за 2–3 года сдать экстерном университетский курс и получить диплом. Дирекция университета была готова принять его, но помешали какие-то финансовые затруднения, не было достаточных условий для экстернатуры.

Снова потерпев поражение в своих намерениях, Боря продолжал усиленно и плодотворно работать в ВИМСе. Он получил там признание как выдающийся молодой ученый, на собственной экспериментальной установке проводил много исследований, вносил все новые предложений и рационализации. Писал и печатал статьи.

Под Бориным руководством на его установке работали студенты-дипломники и аспиранты. Сам он много работал над иностранной литературой, переводил с немецкого, английского и французского, составлял картотеку статей по своей специальности и фототеку интересующих его работ. В этот же период он участвовал под руководством Э. В. Брицке и А. Ф. Капустинского в составлении фундаментального справочника термических констант неорганических веществ вместе с сотрудниками лаборатории – Л. М. Шамовским, Л. Г. Ченцовой и Л. Анвайером

(Этот справочник был напечатан лишь в 1949 г., тогда же к матери Бориса пришли его сотрудники по лаборатории Ченцова и Анвайер и принесли экземпляр книги и 5000 рублей – Борину часть гонорара. Половина этого гонорара была передана его вдове – Анне Сергеевне).

Вскоре после отъезда семьи Наташи из Москвы в провинцию Борис в марте 1935 г. объявил матери и сестрам, что он намерен жениться на дипломнице Анне Зильберман, которая выполняет свою дипломную работу под его руководством в лаборатории ВИМСа. Она была дочерью профессора физики Института им. Карла Либкнекхта, жизнь ее проходила в обеспеченной еврейской семье. В 21 год она была уже замужем и, хотя была как будто увлечена Борисом и даже временно порвала с мужем, но в дальнейшем вела себя неопределенно и уклончиво. Она все тянула и откладывала свое соединение с Борисом, и, не давая ему окончательного отказа, продолжала встречаться с ним.

Это увлечение дорого обошлось нашему брату, совершенно выбило его из рабочей колеи. Он метался более двух лет, то загораясь надеждой, что все уладится, и она придет к нему, то впадая в отчаяние и тоску, т. к. отдавая своему чувству всего себя и не встречая того же с ее стороны, он не шел на те компромиссы, на которые она его тянула. Наконец осенью 1937 г. он порвал с ней окончательно, разочаровавшись «в том светлом образе, который я сам себе создал...»

Весной 1936 г. Борис, будучи уже младшим научным сотрудником института, подал заявление в Квалификационную комиссию ВИМСа с просьбой разрешить ему защиту работы на соискание степени кандидата химических наук, приложил тезисы диссертации и просил установить срок

подачи ее в конце 1937 г. Комиссия удовлетворила его ходатайство, утвердила представленную тему и перечень экзаменов кандидатского минимума. Все эти материалы были переданы в ВАК, откуда 19 марта 1937 г. последовало согласие на допущение к сдаче кандидатских экзаменов и к защите работы.

В мае 1937 г. у Бориса произошел крупный инцидент с его заведующим лабораторией проф. А. Ф. Капустинским. Борис заключил договор с редакцией по цветной металлургии на печатание статьи в сборнике. Капустинский сначала высказался против этой статьи, а потом, в согласии с редактором, зачеркнул фамилию Веселовского, заменив ее своей. В конце документа осталась подпись Бориса. Когда брат узнал об этом, он пришел «в бешенство» от негодования. Состоялся разговор с Капустинским. Борис, по собственному выражению, поставил все точки над «и», подчистку назвал подчисткой и вообще сообщил ему ряд ценных истин... заставил дать отступное письмо в издательство. Статью свою Борис отдал для напечатывания в другой журнал.

Этот инцидент с Капустинским явился последней каплей горечи в его переживаниях с Аней и в разладившейся работе. У него созрело решение уйти из ВИМСа.

Сначала он поступил в Энергетический институт Академии наук в лабораторию геофизики, но там вскоре прошло сокращение, и Борис остался не у дел. Тогда он поступил работать на кафедру физики в Педагогический институт им. К. Либкнехта, которой заведовал А. Г. Зильберман. Там он пробыл с 18.11.1937 по 1.01.1938 г. и, по его собственному признанию, не работал, а только числился и получал зарплату.

Лето 1937 г. Боря провел у своей сестры в Мелитополе, где была снята ему, матери и сестрам отдельная хатка с

абрикосовым садом. Он привез с собою перевод немецкой «химической» книги, над которой работал с сестрой Ириной. Заработали они около 2 тысяч рублей, но деньги были получены только при напечатании, т. е. через год.

Материальное положение семьи было таково, что Борису приходилось все время искать и брать оплачиваемую работу – переводы, статьи. Бюджет семьи складывался: зарплата Бори – 450 р., стипендии сестер – 210 и 160 р., Наташа матери – 300 р. Однако цены так росли, что заработки не поспевали за подорожанием жизни.

В этот период неудоволетворенности, психической депрессии и постоянных приступов малярии, истощающих Борино здоровье, ему представилась возможность интересной работы по специальности и одновременно подготовки к защите диссертации. Бывший его подопечный, аспирант Горьковского университета Константин Андреевич Новосильцев, работавший под руководством Бориса на его установке, защитил к тому времени кандидатскую диссертацию и вернулся в г. Горький. Там он стал работать доцентом кафедры физхимии и замдеканом химического факультета. Он настойчиво звал Бориса переходить в Горьковский университет, обещая ему спокойную обстановку для работы, жилье и возможность в короткое время подготовиться и защитить диссертацию. Профессором кафедры физхимии считался Капустинский, но он бывал там только наездами из Москвы, лекций не читал и всю организационную работу предоставил фактически своему заместителю – Новосильцеву.

Боря колебался, разлад и неудовлетворенность с работой после ухода из ВИМСа, тяжелые жилищные условия семьи, окончательный разрыв с Аней – все это толкало его согласиться и перебраться в Горький. «С глаз долой – из сердца вон», – говорил он.

Предполагалось, что он переедет в Горький с матерью, а сестры останутся в Москве учиться и сохранять жилплощадь на случай возвращения Бориса в Москву. Но его «разыскал» академик Э. В. Брицке, ставший к тому времени вице-президентом Академии наук СССР, в ведении которого были все технические академические институты. Эдгар Борисович вызвал Бориса, отчитал его за уход из ВИМСа и «за варварское отношение к своему здоровью» и уговорил вернуться обратно в ВИМС, обещая работу, независимую от Капустинского, двух помощников и ставку в 600 рублей. Взамен он ставил непременное условие: в этом же году сдать кандидатские экзамены и представить готовую работу для защиты.

Боря с радостью ухватился за такое предложение и вернулся на свое прежнее место в ВИМС. Капустинский встретил его ласково, со словами: «Мы вас ждем». Очевидно он понял, что Борис имеет слишком большую поддержку в лице Брицке. Переговоры и оформление перехода задерживались тем, что институт К. Либкнехта нельзя было бросить в течение учебного полугодия. Боре пришлось совмещать работу с Брицке с Педагогическим институтом до 1.01.1938 г.

Приступы малярии очень подорвали здоровье Бори. Чтобы как-то отвлечься от тяжелых настроений, Боря с осени 1937 г. начал участвовать в драматическом кружке любителей при Доме учителя, которым руководила артистка Художественного театра Ольга Александровна Якубовская. По отзывам участников драмкружка, это была удивительная артистка, обладающая даром «золотого прикосновения», она любила свою работу в Доме учителя, очень много уделяла ей сил и времени, ведя кружок на общественных началах. Ею были поставлены спектакли

«Великий инквизитор», «Дачники» М. Горького, «Не все коту масленица» и «Воспитанница» Островского. С этими спектаклями коллектив выезжал в города Московской области – Клин, Коломну, Загорск. Выступали в домах культуры, зрителями были, главным образом, учителя из области и районов. Боря играл в первых двух спектаклях – Торичелли и адвоката Замыслова. В других спектаклях он выступал в качестве помощника режиссера. В дружном коллективе молодых и жизнерадостных людей он «лицедействовал», жил закулисной жизнью постановок, брал уроки дикции, танцев и т. п.

Несмотря на все попытки отвлечься от тяжелых раздумий, настроение его оставалось безрадостным. В ноябре он пишет сестре Наташе: «Москва полна людей, а сиротливо до черта...». Мать с тревогой пишет дочери: «...он получил такой вывих, что никак не придет в себя. Все его увлечение драмкружком – это только чтобы не быть самому с собою. Он мне признался, что не может работать так, как прежде, сохранил не больше 50% работоспособности».

Шамовский сразу же предложил Борису чтение лекций по химической термодинамике на курсах повышения квалификации научных работников ВИМСа. Это было почетно, поднимало и укрепляло престиж, обещали платить, но потом оказалось, что денег для оплаты нет, и лекции будут считаться общественной работой. Налаживая свою работу в лаборатории, слушая лекции профессора Путилова в университете, Боря продолжал брать постоянно еще платную работу сверх основного заработка, что не только утомляло его, но и отвлекало от основной работы по теме. Так он взялся за редактирование лекций Л. М. Шамовского для напечатания в институте, за что получил 1000 рублей, занимался литературной работой для Академии наук по заданию Брицке.

Мать с тревогой следила за настроениями и здоровьем сына, была очень против его постоянных сверхурочных работ («не нужно мне его тысяч..., он должен поскорей определять свое положение..., об экзаменах и не заикается, диссертация откладывается на неопределенное время»).

По возвращении с Алтая сестра Таня вскоре вышла замуж за Олега Лукьянова и перешла жить в семью мужа. Другая сестра Ирина поселилась в комнате Бориса на Гранатном переулке, а сам он перебрался к матери в комнату на улицу Маркса-Энгельса. Там они вдвоем наладили спокойную и размеренную жизнь – возможность отдыха и работы на дому.

Следующим летом – 1939 года – Борис ездил «диким образом» с компанией драмкружковцев, включая Тату Алхазову, на Кавказ. На обратном пути он заезжал на несколько дней в Мелитополь к сестре Наташе. Мать провела лето с Таней и ее мужем в деревне под Новым Осколом.

В течение осени и зимы 1939–1940 года Борис временами активизировал попытки обмена жилплощади – на большую или две загородом. Он думал жениться на Тате Алхазовой, но и этот роман не клеился, она была под сильным влиянием своей старинной подруги, которая вообще «запрещала ей выходить замуж». Были ли тут еще какие-либо соображения – материальные или другие: только ли это ненормальная ревность подруги или нет?

Борис сказал матери, вернувшись с Кавказа, что они с Татой поженились, но ни расписываться, ни жить вместе не будут. С его матерью и сестрами она также знакомиться не пожелала. Мать и сестра Таня видели ее несколько раз на спектаклях в Доме учителя (но издали) и не соста-

вили о ней благоприятного мнения, жалели Бориса и переживали за него.

Весной 1940 г. Таня пишет сестре Наташе:

«Ты спрашиваешь меня, как у Бори с Татой! Да никак! Все это Борис переносит гораздо спокойнее, чем в первый раз… Очевидно, он порвал, никогда у нее не бывает, ничего не говорит, а мы не спрашиваем…У него сейчас большая целеустремленность: работа, работа, ее оформление, оформление себя…» Драмкружок он бросил вскоре по возвращении с Кавказа.

В декабре 1939 года Борис впервые сообщает сестре Наташе в Мелитополь, что дяде Степану Борисовичу обещана комфортабельная квартира в Москве в строящемся академическом доме на Б. Калужской ул., и что свои 3 комнатки в дачном поселке Новогиреево он намечает передать сыну Борису с Наташей.

Борис очень загорелся надеждой, что семья Наташи будет поблизости, и, может быть, таким образом, произойдет перемена к лучшему в жилищных условиях матери и его самого. Но все эти планы и надежды не имели под собой ничего конкретного, и поэтому Борис Степанович и Наташа восприняли это сообщение как очередную фантазию дяди и его второй жены, которых было так много в эпоху Гранатного переулка, – они без конца сменялись и ничего не осуществлялось на деле. Поэтому и в этот раз серьезно не отнеслись к сообщению дяди и его обещаниям помочь сыну с семьей вернуться в Москву.

Наконец в июле дядя потребовал, чтобы Борис или Наташа прописались у него, чтобы, таким образом, *немедленно* закрепить возможность передачи дачной площади сыну. Тогда Наташа решила приехать в Москву и на месте ориентироваться, какие есть достоверные возмож-

ности. В этих переговорах с дядей и в переписке с сестрой и ее мужем Борис (Константинович) принимал очень большое участие, считая, что никак нельзя упустить возможность получить жилплощадь вблизи Москвы и покончить с далекой провинцией.



Тем временем работа Бори успешно двигалась, его диссертация была почти готова. Срок защиты был намечен на первый квартал 1941 года. В институте ВИМС его нарекли «первым стахановцем», всячески выдвигали и выделяли. В первом выпуске «Материалов по обмену опытом стахановцев ВИМСа» были помещены две статьи о нем.

Наташа из Москвы пишет мужу в Ростов-на-Дону:

«...Между прочим, наш Борис наконец получил признание в своем институте и вообще в химическом мире.

Директор института прямо нянчится с ним, а о завлабораторией и говорить нечего. Перед октябрьскими праздниками его чествовали как лучшего стахановца института в стенной газете, на собраниях, в специальном выпуске Академии наук, избирали его в президиум на торжественных собраниях и на торжество в райкоме ВКПБ его единственного выдвинули. К концу года обещали премировать.

Получилось так: в другом отделе их института, в лаборатории 5 лет работали над каким-то оборонным важным процессом (извлечение олова из руд) и ничего не доби-

лись, а Борис, как только ознакомился с этим заданием, через 2–3 дня предложил какой-то очень экономный и простой способ, придя к нему теоретическим путем благодаря своей предыдущей работе. За это предложение ухватились, оно пошло в комитет по изобретательству, Боря заявил авторство и так далее. Здесь также возможна большая премия. Эта работа должна дать ему имя в химическом мире, и Боря надеется, что она избавит его от необходимости сдавать экзамены перед диссертацией.

Диссертация его почти готова. Можно даже прямо сказать, что она выходит за рамки обычных кандидатских диссертаций. Если бы он имел бумажку об окончании ВУЗа, то ему сразу за нее могли бы дать докторскую степень…

Сейчас такое время и долго оно еще будет таким, что только одно будет цениться в человеке (по-американски!) – что он будет стоить! То, что он накопил в своей голове, чего у него нельзя отнять и благодаря чему он нужен. Стало быть за свой труд, за свои знания он будет получать больше и сможет существовать. Своего рода естественный отбор! В жестокой жизненной борьбе выдержат те, кто более подкован и тем более ценен для общества.

Я никак не могу себе простить, что я в Мелитополе ни разу не добилась командировки в центр на курсы квалификации. Это громадная ошибка с моей стороны, и сейчас я начинаю с первой ступени врачебной лестницы, проработав 11 лет!..»

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Зиму 1940-41 года я жила в Москве и работала выездным врачом станции скорой помощи, а Борис Степанович оставался в Ростове-на-Дону. Я жила у Тани в проходной

комнате, Костя жил с мамой и моим братом Борисом на ул. Маркса-Энгельса. Вся наша семья была разбита, и мы с нетерпением ждали весны, когда дядя Степан Борисович должен был въехать в новую квартиру на Б. Калужской улице. И, таким образом, дать нам возможность поселиться всей семьей в его квартире в Новогиреево.

Брат Борис объявил нам, что он женится на Анне Сергеевне Гаевской, племяннице В. И. Немировича-Данченко и артистов Ленского и Сумбатова-Южина. Он рассказал нам, что она «подвергалась многим гонениям» и пережила много тяжелого. Помню его выражение: «Перемена фамилии ей поможет...» После такой характеристики мы, понятно, с большим интересом ждали знакомства с ней.

В один из выходных дней начала июня Боря привез свою невесту в Новогиреево. Она была в скромном синем платье с белым горошком и в белой полотняной шляпе с большими полями, кокетливо загнутыми набок. Меня поразило и очень запомнилось что-то в ее облике и в манерах, ярко напомнившее мне «другую Аню» (Зильберман), которую я видела всего один раз в убогой комнатке брата в Гранатном переулке зимой 1937 года.

Итак, Аня Гаевская произвела на нас благоприятное впечатление, и мы радовались, глядя на оживленного и радостного Бориса. В субботу 21 июня они зарегистрировались в ЗАГСе, а 22-го на даче мы услышали по радио речь Молотова – начались война.

«ВОЕННЫЙ ТУРИЗМ»

Уже в понедельник, 23-го июня, согласно предписанию мобилизационного листка военного билета Боря явился в военкомат и был мобилизован. Сборный пункт

был в школе на ул. Фрунзе. Его включили в число военнообязанных специалистов запаса, которые направлялись в город Таллин «на формирование». Целый эшелон товарных вагонов с людьми в штатской одежде, с чемоданами, сумками... Боря, как опытный турист, взял свой рюкзак с минимумом вещей и продуктами на дорогу.

Начальник эшелона – единственный военный в форме, с кобурой револьвера у пояса. Никаких других военных, никакого вооружения, хотя бы пулеметов для охраны эшелона... Наскоро организованные группы по вагонам со «старшими». Направление поезда – на Таллинн, к старой границе с Эстонией.

26-го (или 27-го?) днем переехали границу у станции Себеж и еще углубились на 20 км на территорию Советской Латвии, присоединенной к СССР в 1938 г. Здесь на небольшой железнодорожной станции было большое, повидимому умышленное, скопление воинских составов с людьми и военными грузами и задержка движения. Борин эшелон поставили между двумя с боеприпасами. Начальник их эшелона требовал от администрации станции немедленного пропуска далее, указывая на опасность соседства людей с взрывоопасными составами.

Его убили выстрелом в спину, по-видимому, латыши, ненавидевшие советскую власть и сотрудничавшие с немцами. Борин эшелон остался вконец беззащитным и дезорганизованным.

Вскоре над станцией появился немецкий самолет-разведчик «Рама», очевидно, вызванный по рации. Предвидя скорую бомбежку, люди начали выскакивать из вагонов и бежать в близлежащий перелесок. С башни водокачки по ним застрочил пулемет. Появились немецкие бомбардировщики, стали сбрасывать бомбы на составы. Взрывы, пожар вагонов, паника.

Борис с самого начала был начеку. Схватив свой рюкзак, он тоже побежал в перелесок. Там собирались люди из разбитого состава, они пошли назад, по направлению к старой границе. Лес был наполнен людьми-беглецами, бредущими в том же направлении. Масса брошенных автомобилей, велосипедов, детских колясок, чемоданов, узлов,... убитых и раненых – следы паники и бегства русских партийных и советских служащих и их семей. Немецкие самолеты кружили над лесом и обстреливали его из пулеметов.

В одном месте у небольшой речки Борина группа увидела еврейскую девочку лет 5–6, потерявшую родных, обезумевшую от пережитого, которая лезла в воду, чтобы перебраться на другой берег. Боря взял ее на руки, перенес через реку и повел с собой. Через несколько часов Борис с группой вышли к старой границе. Там их встретили военные, уже знавшие о бомбежке и гибели эшелона. У возвращавшихся не было на руках никаких документов, все документы были у убитого начальника эшелона и сгорели в поезде, а сами возвращавшиеся были в штатской одежде и без оружия. Военные власти, встречавшие разрозненные группы уцелевших «специалистов», приказывали им самостоятельно добираться домой и являться в свои военкоматы, где их знают и определят их дальнейшую судьбу.

Так они и сделали, добирались кто как мог: обратными поездами, автомашинами и т. п. Вернувшись в Москву (после 6 июля), Боря получил бро́ню по своей работе в ВИМСе.

Явился он к нам усталый, грязный, обстриженный еще при отправке, но возбужденный пережитым и радостный, что его странствия закончились. Много рассказывал об обстановке «путешествия», о различных людях и случаях.

Но война продолжалась, и немцы неумолимо продвигались. С 22 июля начались ежедневные, регулярные, днем и ночью авианалеты на Москву, бомбежки, разрушения, человеческие жертвы… Хотя, по словам начальника скорой медицинской помощи г. Москвы Александра Сергеевича Пучкова, «было больше жертв от затемнения, чем от самих бомб», но сестра Наташа, работавшая врачом на «скорой помощи» и выезжавшая на дежурства в очаги разрушения, пожаров и жертв, много чего повидала и пережила.

Москва на военном и осадном положении: ежи и баррикады на окраинах, затемнение и маскировка важных объектов, патрули и строгости на улицах, проверки паспортов и пропусков ночных и во время тревог, которые были выданы только непосредственно обслуживающим работникам МПВО.

Борис участвовал в работе дружин ПВО своего института, дежурил на чердаке, крышах, тушил «зажигалки» – небольшие термитные бомбы зажигательного действия. Работа в лабораториях института была резко нарушена, многие мобилизованы. Уже в августе началась массовая эвакуация населения и учреждений на восток. Сначала – детей-школьников, матерей с маленькими детьми, стариков и больных, затем учреждений с их оборудованием, ценностями и с сотрудниками и их семьями.

Сначала предполагалась эвакуация Бориной лаборатории в г. Новосибирск на оловянный завод для внедрения его метода извлечения олова электрохимическим способом непосредственно из руды, но этот проект быстро провалился. Было решено в высших сферах весь институт Минерального Сырья отправить на Урал в г. Кыштым, но потом его изменили на Катайск. В семье обсуждались различные планы, кто поедет с Борисом: мать, жена и

племянник 8-ми лет Костя. Но Аня категорически отказалась ехать «в неизвестность и без всякого комфорта, бросив московскую площадь и имущество на разграбление...». Наташа не решилась расстаться с сыном, а мать боялась остаться одна и без помощи в чужом городе, в случае возможной переброски Бориса в другое место или его призыва в армию, что тоже не могло быть исключено полностью несмотря на броню. Поэтому на семейном совете было решено, что он поедет один, налегке, а все семейство останется в Москве, и там далее будет виднее, как быть. Начальник Станции скорой помощи А. С. Пучков давал Наташе обещание, что в случае приказа об оставлении Москвы и срочной эвакуации, он даст ей возможность взять мать и сына и даже посоветовал приготовить на такой случай вещевой мешок с запасом еды на первое время.

Все мы не верили в то, что немцы займут Москву и решили отсиживаться в «убежищах» до последней возможности, даже при бомбежках и уличных боях, а там – что будет, лишь бы вместе жить или вместе погибнуть в родном городе, а не под чужим забором...

Борис уехал 27.10.1941 с эшелоном товарных вагонов, с лабораторным оборудованием и сотрудниками ВИМСа с их семьями. Путешествие до Кыштыма и последовавшая тут же переброска далее в г. Катайск, за 150 км за Свердловск, длилась до 13.11. Боря очень ярко, хотя скупо описывает это свое путешествие в дорожных письмах и по приезде на место.

Борис сразу же увидел, что в Катайске совершенно нет условий для налаживания даже текущей работы, предстояло только полуголодное существование в безделье, только трусливое «отсиживание на броне» без всякой

пользы во время войны. Он не мог примириться с этим и сразу стал искать возможность или перебраться в Новосибирск на оловозавод, или вернуться в Москву для возобновления работы своей лаборатории, которую надо было восстанавливать на старом месте. Он считал, что обязан «найти свое место» на заводе или в армии, место, достойное себя, найти применение своим знаниям и способностям. Оставаться в Катайске значило тихонько отсиживаться во время войны и такого тяжелого положения в тылу и на фронте – это было ему отвратительно.

Кроме того, его, конечно, тревожило положение своей семьи – матери, жены и сестер, остававшихся в Москве на осадном положении. В декабре 1941 г. немцев отбросили от Москвы и можно было надеяться, что, вернувшись туда, он сможет возобновить свою работу по оборонным темам.

В феврале месяце ему с большим трудом удалось вырваться из Катайска сначала в Свердловск, где было институтское начальство, добиться командировки в Казань, где был Капустинский и академические институты, и затем по двум параллельным командировкам вернуться в Москву «за материалами для выполнения оборонного задания». Директор ВИМС Сирин был очень против Бориного стремления возвратиться в Москву, он-то предпочитал отсиживаться за Уралом, Москва была слишком близка к фронту, и весной можно было ожидать возобновления немецкого наступления. Он гнал Бориса в Новосибирск на олово-завод и всячески препятствовал Борису восстанавливать работу в лаборатории и на заводе в Подольске, где было много ценного оборонного сырья, которое Борис хотел использовать как можно скорее и эффективнее. Сирин не только не помогал Борису осуществлять эти попытки, но всячески им препятствовал, он требовал, чтобы Борис вернулся в

эвакуированный институт, в котором еле теплилась жизнь, но зато обеспечивалась броня… Борис сопротивлялся этому и доказывал свое, они поссорились. Когда весной 1942 г. кончилась Борина броня, он с большим трудом и проволочками возобновил ее, но, очевидно, она не была надежной, т. к. в августе, когда были разбронированы все до 35 лет, Борина броня уже не была учтена, и его призвали. Сирин (в то время замнаркома Геологического) не помог Борису.

По выражению Л. М. Шамовского: «Борис Константинович сам разбронировал себя…»

18 августа Борис был призван рядовым в армию и направлен на 6-месячные курсы в г. Рязань. Курсы эти были досрочно ликвидированы, и все слушатели направлены на фронт. Шло наше наступление на немцев, уже был перелом в войне, его всячески форсировали, все бросали для массированных ударов по врагу.

В начале ноября Борис проехал через Москву в направлении северо-запада (на Великие Луки). Ему удалось позвонить из эшелона, остановившегося на окружной железной дороге, на нашу усачевскую квартиру и сообщить о себе, что он находится близко. Мама, Таня и Аня ездили к нему на железную дорогу, где стоял их эшелон – это было их последнее свидание.

Потом мы получили несколько писем из дороги по пути следования, а потом он замолчал. На наши многочисленные запросы в военкомат и в воинскую часть №1423, часть №133, наконец, 11 апреля 1943 последовал ответ: «Веселовский Борис Константинович 4.01.1943 не вернулся из боя под деревней Печищи Великолуцкого района Калининской области».

Таков был конец его стремлений к образованию, к научной работе, к осмысленной деятельности и семейным, человеческим радостям!.. Если бы в свое время он получил доступ в институт, закончил и оформил свое образование и имел диплом об этом, у него не было бы всех тех препятствий на дороге, которые продолжались все годы и привели к тому, что он погиб безвестно одним из миллионов многострадальных русских солдат в Великой Отечественной войне.

Борис Веселовский
Письма из армии
Август – декабрь 1942 г.

Москва, 22.8.42

Дорогая мама!

Нас перебросили вновь в Москву. Буду я, наверное, в районе Вешняки – Ново-Гиреево. Общее впечатление остается точно таким, какое оно было 19 августа, когда ты приходила ко мне. Назначение мое, по-видимому, остается без сомнений. Очень хорошо сделали, что изъяли часть моего груза – судьба его мне теперь вполне ясна. При первой возможности позвоню по телефону.

Б.

Московская обл., Ухтомский р-н.
П.о. Кузьминки п.я. 17-2-Б. 22.8.42
Москва 27.8.42

Дорогая мама!

Сегодня меня окончательно оформили и приняли в училище. Режим дня будет довольно напряженным, но не исключается, что по воскресеньям будут давать отпуска или разрешать свидания. В это воскресенье я буду занят, но в следующее, может быть, выберусь; сообщу об этом дополнительно. Если же поедете ко мне раньше

этого срока, что мало вероятно, то моя главная просьба – очки и ничего съестного, т. к. кормят вполне достаточно.

Б.

Московская обл., Ухтомский р-н.
П.о. Кузьминки п/я. 17-2-Б. 1.9.42

Дорогая мама!

Сегодня первый день моего учения. Несколько дней тому назад меня обули, одели и сегодня дали шинель. Теперь я полностью курсант. Занятий много, но я не теряю надежды получить отпуск в воскресенье. Если не удастся, то буду, по крайней мере, ждать кого-нибудь из вас к себе. Как это сделать Аня знает, она может дать вам подробные инструкции. Очень меня беспокоит ваше существование в новых условиях усачевских. Никаких писем я пока не получал. Физически я чувствую себя прекрасно, встаю в 5 ч. Утра, делаю зарядку, обтираюсь до пояса и весь день на воздухе. Питание вполне достаточное.

Б. В.

Рязань, Октябрьский городок. п/я. 121-3Г 15.9.42
Москва 18.9.42

12.9.42 Дорогая мама!

Я благополучно прибыл на место. Никаких изменений моего положения в ближайшее время, по-видимому, ожидать не следует.

Успел побывать на базаре, цены здесь несколько ниже, чем в Москве, может быть, окажется выгодным проделать даже такой опыт заготовок. Но пока я не буду иметь точных данных, ничего не предпринимайте, я вам напишу или дам телеграмму. Очень ценится здесь мыло хозяйственное. Адреса у меня пока нет, я сообщу его позже.

Опиши мне, сколь возможно, вашу жизнь в Москве. Я совершенно отрезан от внешнего мира и имею очень мало свободного времени.

Б.

Москва 26.9.42 КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

21/IX-42 г. Дорогая мама!

Пишу тебе уже второе письмо из Рязани. Мой адрес: Рязань, Октябрьский городок, п/я 121-3Г Курсанту Б. К.

Вчера испытал истинное наслаждение: попал в баню и надел теплое белье. Осень уже началась. Утром были заморозки. Пейзаж чисто степной, непривычный. В город мне сходить не удалось и едва ли удастся в ближайшее время. Очень давно не имел от вас ничего. Попроси, чтобы Наташа и Татьяна написали мне хоть по две строчки – это письмо адресовано и к ним.

Как у Наташи, на «скорой» и у Тани в институте? Всем-всем дорогим москвичам приветы.

Б.

НАТАШЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Рязань, Октябрьский городок. п/я. 121-3Г 28.9.42
Москва 8.10.42

27.9.42 г. Радуюсь вместе с тобой известию от Бориса. Где он? В Грузии? У меня все по-старому, нам установили срок 6 месяцев, но не знаю реально ли.

Сейчас очень потеплело, а то было довольно холодно. Старшина нашей роты сказал, что можно получить посылку на адрес роты и вложить в нее записку, для кого она предназначается. Мне очень скоро понадобятся варежки, желательно с двумя пальцами на правой руке, Глеб знает. Если у вас есть какая-либо шерсть, очень прошу мне что-нибудь соорудить. Мои кожаные, пожалуй, не подойдут, они очень холодные.

Я напишу Ане список мелочей, в которых я здесь ощущаю нужду и тогда можно будет собрать небольшой сверточек. Хорошо было бы начать распродажу моего гражданского белья, а деньги реализовать. Очень в большой цене здесь бумага курительная и писчая (тетрадь – 10–15 рублей) и карандаши. Напиши мне про огородные успехи.

Мой адрес полный: п/я 121, 3-й батальон, 12 рота.

Б. В.

ТАНЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

Москва 8.10.42

26.9.42 Дорогая Татьянка!

Я никак не могу жаловаться на судьбу, забросившую меня в эти края. Я сыт, более или менее одет, абсолютно беззаботен и вдобавок имею иногда свободное время, правда, в пределах, обнесенных колючей проволокой. Удручающе действует только людской состав. Курсанты собрались один к одному – по-видимому, счистили самую мразь, долго отсиживавшуюся во всевозможных тылах. Воруют друг у друга, грызутся, как собаки, из-за каждой корки хлеба, стараются свалить всю тяжелую работу на других и т. д. и т. п. Какие-то шакалы в образе человеческом. Более или менее порядочные люди наперечет.

Нам еще остается не менее двух месяцев; говорят, что в ближайшее время дадут зимнее обмундирование. К сожалению, я не имею времени, чтобы сходить в город и сфотографироваться.

Как у вас дела с огородом и топливом? Что пишут из Ташкента? Многое из того, что я прежде слышал от других, я проверил теперь на своем опыте. Надо сказать, что такие, как Олег [муж сестры Татьяны – *А. М.*] (только в другой форме), здесь встречаются очень часто – их никак

не могут согнуть, хотя и применяют крайние меры. А в остальном Владимир Николаевич дал правильное описание – к нему нечего добавить, судя по тому, что я слышал.

Но об этом лучше не думать, а надо просто жить растительной жизнью, пока это возможно. Самое неприятное – это грязь; пока ее еще нет, стоит сухая погода, но это не вечно – придет и зима.

Впрочем, будем с надеждой взирать на будущее.

Б.

Москва 21.10.42 КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

17.10.42 Дорогая мама!

... С последней недели уже явно сказывается подход зимы. Относительно посылки – старшина мне определенно сказал, что на воинскую часть он получал посылки. Может и врет, кто его знает. Нужно сделать две оболочки, на одной, внешней, написать: г. Рязань, Октябрьский городок, п/я 121 – 3Г, 12 роте третьего батальона, а внутри, на другой оболочке уже мой адрес с полной фамилией и именем. Украсть, конечно, могут, но риск – благородное дело, а нужда в варежках уже определилась. Если не принимают от частных лиц, можно попытаться позвонить в ин-т, не смогут ли они от лица месткома или дирекции ин-та отправить мне как бывшему сотруднику. Об этом я пишу Ане, м. б. так и удастся сделать.

Получил письмо от Ринчи, все наполненное материнскими радостями [сестра Ирина, в августе родился сын Михаил. – *А. М.*]. Хорошо все-таки, что вам удалось справиться с огородом, мне сразу стало как-то спокойнее после обстоятельного письма Наташи.

Не сетуй, что редко пишу, времени мало.

Б.

Рязань 21.10.42 КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Москва 27.10.42

19.X.42 г. Дорогая мама!

Пересылаю тебе справку из нашего училища, ее получение сильно задержалось и не по моей вине.

Вчера мы перебрались в город, в новые, чистые и просторные казармы. Здесь несравненно лучше. Выпускать в город, вероятно, не будут, как и прежде, но, по крайней мере, будем жить в более культурных условиях. Можно будет почитать, пописать и просто отдохнуть.

Как это ни досадно, я теперь курю – особенно с тех пор, как у нас начались походы. Холод, грязь, дождь, глина кругом раскисла, сидишь в какой-нибудь яме часами или выроешь себе окоп, а он весь раскиснет. Ну, как тут не закурить, тем более, что сухой паек, который дается нам на сутки похода, состоит из 800 г хлеба, 40 г масла и 200 г селедки. Горячего сварить негде – вот так и крутись. Но я курю очень мало: 2 – 3 папироски в день, главным образом после завтрака, обеда и ужина и только потому, что у меня был хороший табак, привезенный из Москвы. Самосад пока не курил и не собираюсь. Страшная гадость!

Я посылаю тебе справку, она, может быть, поможет тебе. Аня собирается послать мне некоторые вещи, а если не удастся отправить с почтой, то, может быть, привезет их сама. У меня большая к вам просьба: если для получения билета и пропуска ей понадобятся бумажки – передайте ей на время это удостоверение. Я постараюсь вытребовать второе подобное и переслать или передать ей.

Получил письма и открытки от Ринчи, Игоря Черкасова, А. Ф. Капустинского. Всем буду отвечать в ближайшем будущем.

С верой и надеждой смотрю вперед, пусть даже впереди про́пасть – нам не пропа́сть. Дали бы только хорошую шапку! Б.

Рязань 27.10.42 КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Москва ... 11.42

26.10.42 г. Дорогая мама!

Уже давно не писал тебе, главным образом, из-за отсутствия времени и сил. У меня 10 часов занятий. Два часа так называемой самоподготовки, во время которой со мной могут делать все, что угодно, и еще 12 таких же неустойчивых часов. Я теперь уже немного привык не принадлежать самому себе, а первое время было немного жутко. А самое главное, все время на людях. Я всегда больше любил одиночество, чем общество, а теперь прямо жажду минуты уединения. Увы, они редки...

Все еще не теряю надежды получить посылку, хотя бы с писчебумажными принадлежностями и варежками. Питаюсь я сейчас достаточно, хотя убийственно однообразно. Голод ощущаю лишь на людей, с которыми можно было бы задушевно потолковать о том, о сем. За исключением одного очень умного грузина (из Абхазии) и одного ленинградца, все остальные – мрак подземной ночи. Но я нисколько не сомневаюсь, что мне удастся еще встретиться с настоящими и достойными людьми – вернее всего, они еще откроются в испытаниях.

Получил письма от Татьяны, Ринчи, Сергея Аверьянова, Иг. Черкасова, Капустинского и увы ... не имею ничего от Игоря Нечаева. Почему он молчит? С. П. к нам не заходит. Коля говорит, что раньше декабря – января он едва ли куда-нибудь будет переезжать. Своей судьбой он доволен, пишет, что это лучшее из того, что было возможно в его ситуации.

Я веду очень обширную переписку со своими друзьями, даже ВИМСовцам и Катайцам написал по небольшой открытке, ответа, правда, не имею... Катайцам, конечно, молчать положено по штату. Эх! Если бы мне получить корректуру или оттиски моих работ от А. Ф. Капустинского! Это был бы у меня настоящий праздник! Боюсь даже рассчитывать на это.

Я уже писал тебе, в том письме, куда вкладывал справку, что НИЧЕГО из рукописей им не показывать, а тем более отдавать не нужно. Если они хотят и могут печатать, то прежде всего пусть запросят МЕНЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО, а я уж с ними потолкую по-своему! А вернусь – рассчитаюсь!

Во всяком случае, я прохожу сейчас хорошую школу волчьего отношения к людям – гражданские доблести: мягкотелость, вежливость, уступчивость, объективность – все по боку!.. Кто смел – тот два съел!!!

Я один раз остался без порции за ужином – и представь себе! – нашел вора – и при всем народе на следующий день заставил его отдать мне свою! Это – да!

Б.

Рязань 5.11.42 КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Москва 11.11.42

3/XI-42 г. Родная моя мать!

Сегодня неожиданно закончился мой курсантский путь, мы уезжаем. Адреса моего пока не знаю, сообщу немедленно.

Итак, я теперь настоящий солдат-гвардеец, пулеметчик. Помню, как сейчас, нашу последнюю встречу в Кузьминках. Иного пути у меня нет, и не было. Будущее покажет много нового и интересного, для него стоит жить. Но сейчас, в ближайшей перспективе, трудно усмотреть какую-нибудь кочку в безграничном болоте.

Одного у меня много – веры в абсолютную справедливость, рациональность всего происходящего. Мы заслужили, и теперь закон причинности заставляет платить по векселям.

Только и думаю о вашем, москвичей, житье-бытье в предстоящую суровую зиму. Вернусь, и заживем по-новому. Посылку от Ани я получил вчера. Больше мне ничего не шлите до моего нового адреса.

Всегда со мною останется мысль, что ты лучше всех меня понимала и понимаешь, правдивее всех смотришь на жизнь, буду подражать тебе. Б.

НАТАШЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Рязань 5.11.42
Москва 11.11.42

3/XI-42 г. Дорогая сестра!

Остались считанные минуты до выхода из казарм. Учеба кончена. Теперь за дело. Кто знает, может мне удастся повидать дядю Степу, Ольгу Ал. и даже Бориса Степановича. Все не исключено, но и не аргументируется ничем. Наше дело ... (зачеркнуто военной цензурой) Куда повезут, туда и поедем. За себя я ничуть не тревожусь, наоборот, чувствую себя легко и бодро. Буду бороться за жизнь, за свою оскорбленную и оплеванную родину, истекающую кровью, голодную и холодную. Такой она была для меня последнее время, будущее ее будет создано новым поколением, в этом я свято уверен. Страстно хочется дожить до ее возрождения, до него совсем недалеко.

С Борисом Ст. постараюсь связываться, тоже с дядей Степой. Танюше я не успел написать отдельно, передай ей, что она хранитель моей химии, рукописей, карточек и т.д. Получил письмо от институтских, там уже заседлали мое место. Ну, с ними счеты будут иные.

Ответ на твое большое письмо я все еще вынашиваю, теперь оно как-то утеряло свою остроту, но все-таки остается у меня в сердце. Я еще буду писать на днях. Б.

ТАНЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Рязань 5.11.42
Москва 11.11.42

3/XI-42 г.

Вся на ногах, полна, шумит, как взбудораженный улей, полутемная казарма. Сборы в полном разгаре... Тот кричит, вызывает какие-то фа Илии, то получает сухой паек, этот собирает литературу. Группами поют песни, то заунывные, народные, то веселые, блатные и утесовские. Не переставая, звенит возбужденно-радостная балалайка и вздыхает полной грудью баян «Товарищ, мы едем далеко, далеко от нашей земли». Общий шум покрывает топот залихватской пляски, на одну минуту захватывающий внимание казармы. Тут и все уже «положили», как говорят в армии. Кто словчился – сумел выпить... Громкий резкий окрик команды – поверка, строй и т. д. Разойдись!..

Все вновь шумит и бурлит. Настроение приподнятое, у большинства бодрое. Каждый вспоминает многое... Лаются меньше, чем обычно, и в другом тоне, приподнято-бутафорском, а не паскудно-шакальем, как обычно. В углах сидят более спокойные, делают догадки, высказывают предположения, обсуждают ситуацию, делятся опытом прошлого.

Я рисую тебе, Татьянка, эту картину с натуры. Когда и куда мы едем, мне, конечно, не известно. Но как только я прибуду в новое место, я сразу же дам вам свой адрес – по-видимому, полевая почта №... Только что громко прочитал новую пачку последних писем и в числе

их – твое ко мне – открытка, из которой я так живо представил себе ваш московский быт. Это ощущение близости к своим дороже условных и безусловных эпистолярных форм. Письма я уничтожаю форс-мажор, но память о них храню крепко. Будьте здоровы, держитесь крепко! Вернусь – заживем!

РИНЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
Рязань 5.11.42
Москва 11.11.42

3/XI-42 г. Дорогая моя сестренка!

Я получил два твоих письма и только сейчас собрался отвечать. Кончилась моя карьера курсанта – теперь я солдат. Адреса у меня пока нет, как только будет, сразу дам знать.

Как радостно думать, что есть еще у людей семьи, ребятишки, родные. Береги своего малыша, береги мать – всегда думай о нашей дружной, трудовой семье. Когда вернусь, заживем по-новому.

Передай мой привет всем нашим московским друзьям: Иринке и Игорьку Нечаевым, Косте Миессерову и многим другим, всем я желаю самое лучшее.

Глебке привет. Б.

ППС 1423, часть 133 КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (открытка)
Почтовые штампы стерты

25/XI-42 г. Дорогая мама!

Я еще ничего не получал от вас, а сам уже послал несколько писем. Быт мой сильно отличается от рязанского. Меня назначили химинструктором – начхим роты. У нас здесь стоит мягкая зимняя погода. Единственной неприятностью для меня является обувь, она вся развалилась. А в преддверии походов это, конечно, нехорошо.

Сегодня опять обрадовались хорошим новостям с юга. По-видимому, север не будет отставать и задаст фрицам жару. Вообще дела наши идут хорошо. Николай пишет, что скоро и он попадет в дело, а пока он отдыхает недалеко отсюда. К сожалению, я не имею адреса Владимира (Муромова), он где-то поблизости от меня, только юго-восточнее. Если сможешь, узнай и напиши мне. Привет моим московским.

Б.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (открытка)

Почтовые штампы стерты

1/12-42 г. Дорогая моя мать!

Пишу тебе уже с марша. Скоро буду воевать по-настоящему. У меня все благополучно, трудности переношу хорошо. Закончился большой *циркулюс визиозус*, и я опять вновь почти в тех же местах, где был полтора года назад.

Радостные вести о поражении немцев под Сталинградом и Ржевом вселяют в нас уверенность в скором победном конце.

Твой сын Б.

Поцелуй от меня сестер и внука.

Москва ?.12.42

2. 12. 42 г. Дорогая мама!

Я послал тебе два письма с нового места «жительства», получили ли вы их? У меня все по-старому, только я готовлюсь стать химинструктором своего подразделения, это безусловное достижение. На будущее взираю с надеждой, радуюсь нашим успехам на юге. Как-то вы живете? Теплых вещей мне не присылайте, а вот если четвертинка подвернется, то я с радостью ее раздавлю.

Пока мы не на передовой, нам водки не дают, а нужда иногда большая.

Твой сын Б.

Письмо Бориса Константиновича Веселовского Т. Алхазовой
По пути на фронт, за 2 месяца до гибели

4 ноября 1942 г.

Обращаюсь к тебе, как к своему прошлому, такому близкому по срокам и такому далекому по переживаниям и событиям.

Грозное и бурное настоящее не заслонило его, я возвращаюсь к нему постоянно и во снах, и в нечаянных мыслях, промелькивающих иногда почти незаметно, а иногда оставляющих щемящее, где-то глубоко запрятанное чувство, бесформенное и бессловесное. Годы 1937-40, пусть бурные, со сменой радостей и неудач, были в моей жизни самыми счастливыми, самыми богатыми. А неудачи, что ж, я знал себя всегда как неудачника; правда, ведь?

Сейчас я стою на той тонкой грани, которая, как я чувствую, отрывает меня от прошедшего, разобщает меня с ним духовно, а весьма возможно, и физически. Теперь я только солдат. У солдата в настоящем нет мыслей, есть действия, прошедшее ему только мешает, будущее стоит по ту сторону возможного. Здесь зарождается фатализм.

Это письмо совсем не литературное упражнение, мне хочется проститься со своим прошлым и, живя неизбежным настоящим, получить новые силы для веры в будущее. Без этой веры плохо.

Адреса у меня нет, не может быть, следовательно, и мысли об ответе. Хочется мне лишь, чтобы ты попыталась взглянуть на одно мгновение хотя бы простым и

дружеским взглядом на тот период нашей прошедшей жизни. Для меня он, сознаюсь, дорог.

И это верно, что прощаюсь: или настоящее угробит меня, или будущее перепутает все до основания.

Будем надеяться – этой возможности никто у нас не отнимет. А пока – бороться цепко и настойчиво за будущее.

Не знаю, как подписаться, друг что ли или просто никто. Вернее, все-таки друг.

Б. Веселовский.

Примечание: Письмо Бориса было вложено в конверт на имя Ирины Нечаевой, с просьбой передать Т. Алхазовой. Ирина сообщила ей о письме с фронта, но Тата даже не зашла за ним. Ирина Н. хранила письмо более 37 лет, а в 1980 г. передала его сестрам Бориса.

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ (открытка)

Письмо Бориса Константиновича Веселовского Ирине Нечаевой

Москва, Плотников пер., д. 16, кВ. 2. Нечаевой И. А.

9/XI-1942 г.

Пишу тебе из пути, оттуда, где ты часто бывала в командировках. Я перешел заочно на «ТЫ» запоздало – сейчас нет нужды выделывать курбеты, этот переход и так давно уже надо было осуществить.

Получила ли ты письмо с конспиративным поручением из Рязани? Все это – тлен и прах, и лишь обращение к прошлому, такому далекому, что трудно оценить его реальность. Но сознаюсь, годы 1937-40, это мой золотой век, самые счастливые, полноценные годы. Мы их провели вместе, и ты знаешь их также хорошо и, наверное, также вспоминаешь добром.

Игоря я так и не уловил на свою эпистолярную удочку – а он и в ус не дует. Может, у него нет моего адреса?

Теперь он будет удовлетворен – адреса у меня, действительно, пока нет. Не разочарую его – скоро он у меня будет, правда не знаю – надолго ли!?

А тебе пишу, потому что видел, что у тебя есть боль за нашу Родину, за наше дело. А какая это боль! Как хочется искупить прошлое и надеяться на будущее России.

На гражданское состояние и привычку наплевать на это дело я давно уже «положил», как говорят в армии.

Б. В.

Получено в Москве 22.11-42 г.

[Передано Ириной Нечаевой сестрам Бориса летом 1942 г.]

Последние письма

Москва, Пыжевский пер. 7.
Всесоюзный ин-т Минерального Сырья.
С. П. Камецкому и К. К. Муханову

1/XII–42 г.

Дорогой мой учитель, Стефан Петрович!

Пишет Вам солдат русской великой армии, Ваш ученик и постоянный собеседник Борис Веселовский.

Далеко ушли те времена, когда в тиши лаборатории мы изобретали свои ферзухи. Теперь у меня верная подруга – трехлинейная русская винтовка образца 1891/1930 г., шинелька серая, подсумок с патронами и мешок за плечами. Наше дело телячье, как говорит солдатская пословица. День не доешь, день переешь, спишь в день, где попало и когда придется...

Хорошо только, что немца стронули, а теперь уж мы будем нажимать. Сидеть в обороне гораздо хуже: засты-

нешь, изголодаешься, а здесь и конец будет быстрее... Больше 5–7 дней на передовой в наступлении не побудешь, а там – или благословенный Наркомздрав, или безразличный Наркомзем...

Прошлое у меня так далеко, что я о нем совершенно не вспоминаю. Мои мечты теперь гораздо проще: нажраться картошки или променять пачку махорки на кусок хлеба или кружку молока, а потом приютиться где-нибудь в сарае или избушке и проспать мертвым солдатским сном часок-другой...

Пишите мне п. п. 1423, часть 133.

1/XII–42 г.

Дорогой Кирилл Константинович!

Пишу Вам из действующей армии. Судьба закинула меня сюда, и не лейтенантом-пулеметчиком, как предполагалось сначала, а просто бойцом-пехотинцем, все тем же многострадальным русским солдатом... Училища не кончил, а был послан прямо на фронт. Теперь день-другой и я пойду на передовую.

Передайте всем моим бывшим сослуживцам ВИМСовцам самые горячие поздравления по поводу наших побед на юге и у Ржева. Скоро мы будем свидетелями еще более крупных успехов и теперь уже недалек тот день, когда чудовищная мясорубка войны придет к концу. В армии очень хорошо чувствуется помощь наших союзников, и особенно последние события в Африке, являющиеся предпосылкой ко второму фронту.

Ваш Б. В.

[Это письмо было передано мне С. П. Камецким в январе 1943 г. еще до получения сведения о гибели Бориса. – Н. Веселовская]

Полевая почта 20.12.42
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
(открытка)

Москва 28.12.42



9/XII-42 г.

Дорогие мои!

Я жив и здоров, нахожусь все в том же звании и чине. Сейчас сплю, отдыхаю, набираюсь сил.

Писем от вас не получал ни разу. Жду их с нетерпением, как радость очень большую. Сегодня получил в первый раз 83,33 гр. C_2H_5OH. Хорошо! Будьте здоровы!

Б.

А. В. Веселовская

Последняя встреча с сыном

Мне хочется зафиксировать на бумаге последний образ моего Бореньки.

Это было 7 ноября 1942 года. Утром он позвонил на Усачевку, что его эшелон стоит на путях в Москве. Наташа дежурила в этот день, а мы с Таней, собрав все съедобное, что было у нас (а было его очень скромно!) бросились искать его на путях. Погода была ужасная: холодно, ветрено... Долго мы искали, никто не мог нам указать, где они – вагонов, поездов масса, а своего никак не найдем. Наконец увидели Борю. Он был в солдатской шинели, в пилотке – видно, что ему было холодно, да, как и выяснилось потом – голодно... Как сейчас помню, и никогда эта картина не исчезнет из моей памяти: в одной руке огромная морковь (с Наташиного огорода), а в другой – какая-то тоже привезенная нами колбаса, он ест, видно, что ест с удовольствием... Шоколад, привезенный нами же (это все тот же, который ездил с ним в эвакуацию!) он прячет куда-то подальше: воровство такое, что не почувствуешь как у тебя стибрят. В вагоне (в теплушке) холодно, ничего горячего

не дают – холодная вода и селедка – все питание. Боря нарисовал нам яркую картину своего окружения... Познакомил с одним из «приятелей» – Петровым, который просил меня переслать 900 р. его семье в Кострому. Я это сделала, но не могу себе простить, что не записала адреса костромского, чтобы можно было снестись с семьей Петрова и что-нибудь узнать через них о Боре.

Чтобы укрыться от пронизывающего ветра, от которого Боря, по-видимому, очень страдал (он плохо одет и голоден!) мы сели около какого-то строения и защитили тем только свои спины... Боря много говорил, он был возбужден, глаза его сверкали...

Я боялась не выдержать: так хотелось не расстраивать его своей болью... Теперь, когда я вспоминаю последнюю нашу встречу (а это бывает часто, почти каждую ночь, когда я беседую с ним), я не могу удержаться от слез и от простой физической боли от его вида – холодного, голодного и очень возбужденного! Боже, неужели я никогда не увижу его?! Часто думаю, что в каком бы виде он ни явился, лишь бы явился... Если не в М[оскве – *А. М.*], так все равно где я буду с ним.

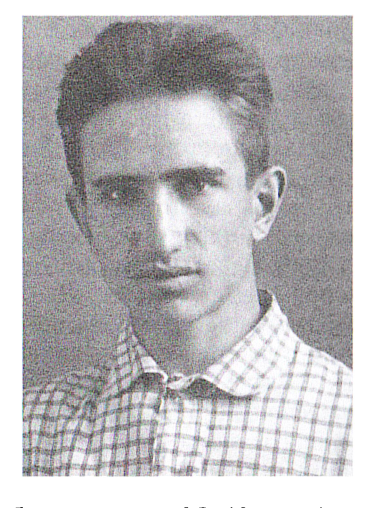
А какая была последняя встреча моя с его отцом я никогда не забываю. Канун Николина дня (6 дек. 1918 г. с. ст.). Погода ужасная – холод, сырость. Всю ночь сидим где-то в углу на станции Романовка. Я плакала до изнеможения. По временам поднимались, ходили по платформе, чтобы согреться. На заре мой поезд уходил в Балашов, а К. Б. оставался, чтобы возвращаться в М[оскву – *А. М.*]... Да, жизнь не пощадила ни того, ни другого...

Игорь Александрович Нечаев

Мой друг Борис Веселовский

Этому – «промежуточному» – поколению не повезло. Из друзей юности только двое – я и Федя Рау – пережили шестидесятилетний рубеж. Один – Азбукин – как и я с Федей, не воевал – он был фантастически близорук, но умер что-то около пятидесяти. Из остальных семерых трое погибли на войне, а четверо.., но не о них речь.

Вспоминаю молодость – где-то на рубеже 29-го и 30-го годов. Я пришел в клуб Рабпроса, конечно, в шахматный кружок. Не припомню, кто меня туда ввел. Должно быть, никто. Но помню общую обстановку приветливости, расположения и взаимного уважения. Конечно, не обходилось без подтрунивания и подшучивания. Но где этого нет? Кружок был одним из сильнейших в Москве. И немного позднее – в 1934 году – выиграл командное первенство Московских профсоюзов. Я в нем участвовал и до сих пор храню наградной жетон – ладья на фоне шахматной доски. Борис Веселовский тоже участвовал в этих соревнованиях. Не знаю, сохранился ли его значок.



Странным образом состав кружка делился на две части. Одни – это седые и полуседые, а некоторые и плешивые педагоги. Клуб-то был работников просвещения. Они спокойно играли турнирные партии, «конечно, не без звона», но очень корректного, участвовали в блицтурнирах. Но семейные и занятые люди, они появлялись в двух небольших шахматных комнатах как бы по расписанию. Нам тогда они казались очень древними. На самом деле им было от силы 35–40 лет. А за 50 – это самому «древнему». К другой части – шумливым, иной раз невыдержанным, но очень добропорядочным юнцам от 15–16 лет этак до 22–28 – они относились с дружелюбием, без менторства и панибратства, не завидуя успехам младших. И их, в том числе профессора Х. К. Баранова, доцента А. С. Сергеева, сильных московских шахматистов, скоро стали догонять, а потом и «поколачивать» молодые – Сомов–Насимович (погиб на войне), Лукомский (в будущем профессор психиатрии), Ф. Рау (тоже потом профессор), а чуть позднее Андрей Орлов (погиб на войне) и особенно А. Н. Чистяков (музыкант-пианист). Он получил звание мастера после успешного выступления в полуфинале Чемпионата СССР 1938 года. По поводу этого события состоялось даже в т. н. «голубом зале» (в каком клубе нет «голубого», «красного» или «белого» зала?) чест-

вование молодого лауреата (род. в 1914 г.). Чествовали дружно и старые, и молодые.

Мы – молодежь – быстро и коротко перезнакомились между собой, а многие и подружились. Это было еще до тридцать шестого – тридцать седьмого, когда все стали друг друга бояться и знакомиться перестали. К счастью, это было задолго до страшных лет всеобщей подозрительности и отчужденности.

Боря Веселовский чем-то сильно отличался от других молодых. Вежливость? Все были вежливыми. Нет, не то. Вероятнее всего редкая в том возрасте цельность. Цельность характера, поведения. Целеустремленность в поступках. И еще – отсутствие какой-либо поверхностности в суждениях, в знаниях. Все должен был продумать, до всего докопаться сам, без стороннего влияния. Когда его серьезное, сухощавое, продолговатое лицо освещала улыбка, открывалась еще одна скрытая сторона характера – доброта. Он был по-настоящему добрым человеком. Улыбка открывала это, а поступки подтверждали.

Итак, начало тридцатых годов. Перенесемся в Гранатный переулок (теперь почему-то улица Щусева. У москвичей отнято еще одно исконное милое название.). Двухэтажный особнячок, в то время там жили Веселовские всей семьей – Александра Васильевна, Таня, Боря, Рина. До этого Веселовские обитали в Шведском переулке, жили в одном дворе с семьей музыканта Козолупова, и ребята с детским азартом воевали с его многочисленными, впоследствии знаменитыми, дочерьми.

Потом, когда Наталья Константиновна со своей семьей уехала в Мелитополь, а Александра Васильевна, Рина и Таня перебрались в бывший Ваганьковский переулок (конечно же в 1926 году он был переименован в улицу Маркса и Энгельса), на Гранатном остался один Борис.

На Гранатном Борино окно выходило во двор. А небольшая комната была обставлена предельно просто. Остались в памяти побеленные стены. Тесная его обитель в течение нескольких лет служила для меня пристанищем. Когда в 1935 году нашу семью постиг разгром, и все рассыпались кто куда, я очутился номинальным постояльцем некоей хибары в Хомутовском тупике, где в распоряжении моем имелась гладильная доска – к счастью, я был тогда очень тонок. Доска упиралась, при лежании на ней, одним концом в раскаленную стенку русской печи, а другой – в ледяной подоконник. Так, волею судеб, познавались мною зараз два круга ада.

В маленькой комнатке Бориса стоял попавший туда широченный, обитый зеленым сукном, весь резной, письменный стол моего отца. О столе этом можно писать новеллы (стихи уже написаны). Борис за ним работал. На него иной раз ставилась незатейливая вечерняя трапеза. А на суконной его поверхности частенько спал я, подложив под изголовье одиннадцать книг (одна была потеряна) сочинений аббата Мабли на французском языке форматом in octavo в аккуратных замшевых переплетах с позолотой и с тускло малиновым прямоугольничком вверху корешка для обозначения волюма.

В комнату Бориса надо было проходить мимо множества помещений. Там были комнаты темные и полутемные, и проходные, и отгороженные стеклянной перегородкой, – и всюду жили какие-то люди. Одна обитательница запомнилась. Звали ее, кажется, Елена Сергеевна. Сухонькая, подвижная. Ей было за 90. Она хорошо помнила известного Герценштейна, у которого жила в прислугах и была свидетельницей (чуть ли не) его гибели.

Дома – всегда очень сдержанный – Борис иногда както раскрывался. Как-то в разговоре, имея в виду одного на-

шего общего приятеля (но не касаясь имен), Борис, с осуждением в голосе, сказал: «есть такие люди – начнут дело и бросят. Начнут книгу читать, и книга у них всегда раскрыта на третьей странице...». Крайне характерная для его глубокой натуры мысль. Он не терпел никакого верхоглядства.

А еще раз полушутливо мне сказал: «Если бы не твое православно-славянское воспитание, из тебя получился бы хороший эпикуреец». Увы, эпикурейца из меня так и не получилось. А жаль!

И еще о том же нашем друге Борис говорил: «Посмотри на него. Он всегда доволен. У него никогда никаких осложнений с женщинами». Это означало: он настолько поверхностный, что мимолетное счастливое увлечение заменяет ему глубокие переживания, на которые он не способен, и рад. Вот тут я уловил легенький оттенок зависти к собиравшему пышные букеты удачливому молодому человеку. Признаться, я тоже ему завидовал.

Упорство, я бы сказал чисто веселовское упорство, отличало его всегда и во всем – и в работе, и в развлечениях, и даже в отдыхе. Хотя, с моей точки зрения длинные и утомительные переходы с рюкзаками за плечами мало похожи и на отдых, и на развлечение. Впрочем, в этом суждении тоже есть некоторый оттенок досады и зависти к легким на ноги товарищам. Что же делать. Не дал Бог жабе хвоста.

Он вспоминал один из таких трудных походов, совершенный в одиночестве, когда уже иссякали силы, и день был на исходе, и до жилья было далеко. Когда ноги перестали слушаться, и хотелось пить. Только осознание твердо поставленной цели, достичь которую нужно во что бы то ни стало, поддерживало и заставляло двигаться вперед.

Никаких поблажек себе, никаких остановок. Непослушание мускулов, усталость, жажда – все было преодолено упорством и волей. А в конце пути награда – великое душевное облегчение, желанный отдых и покой. Цель достигнута. Все.

Он не давал наступать себе на ногу. Припоминается один случай, неоднократно им в последствии поминаемый. Относится он к 1930 году – точно. В то время Борис часто заглядывал на шахматную базу (так она величалась) Парка Культуры. Шахматисты и шашисты играли в павильоне, где размещалась парковая читальня. В их распоряжении были обширные хоры*, зал под ними и дворик, куда в хорошую погоду довольными игроками выносились доски. Плетеные стулья и примитивные столы из дворика не убирались весь сезон. Ежедневно разыгрывались блиц-турниры.

Среди разношерстных завсегдатаев, любителей молниеносной игры, был некий юркий брюнетик нахального вида. Блицы тогда игрались без часов, зато со «звоном», более или менее добродушным. Как-то брюнетик играл с Борей. Видя, что Борис задумался, он, поторапливая, произнес: «Ну, ходи, нация!» Такая у него была поговорка; некорректная, конечно, но и не очень обидная, если бы не подчеркнутая наглость тона, которым явственно давал понять превосходство его – брюнета – нации. Через несколько ходов задумался сам брюнетик. Борис, совершенно тем же тоном ответил: «Ну, нация, ходи». Брюнет сразу сник и увял. Контрудар попал в цель.

Очень колоритной фигурой был родной дядя Бориса – выдающийся историк Степан Борисович Веселовский. Он

---

* Те самые, где несколько позже у скрипача Ойстраха во время какого-то шахматного матча с пиджака украли орден – *И. Нечаев*.

тогда жил на Гранатном переулке. Изредка появлялся на Бориной «половине». Чем-то он напоминал Сильвестра Бонара. Вернее, Сильвестр Бонар в моем представлении прочно ассоциировался со Степаном Борисовичем. Небольшого роста, бритенький, дома он ходил в какой-то тужурочке. Неторопливые движения. Пристальные, колючие, светлые глаза. Полуседые волосы, небрежно причесанные. Слабый голос. Он начинал рассказывать сперва медленно, тихо, как-то вроде нехотя, потом воодушевлялся все более и более, речь его становилась с каждой фразой красочнее, образнее и сочнее. Голос крепчал, приобретая модуляции, которые спервоначалу ему будто лень было пустить в ход. В разговоре он не замыкался XV–XVII веками. Напротив. Огромный опыт и неисчерпаемые знания историка помогали ему быстро и точно оценивать весьма сложную в первой половине 30-х годов европейскую, да и мировую ситуацию. Я уже не припомню, к какому году относится следующий случай. В памяти осталось, что был выходной день, как тогда говорили, далеко не всегда совпадавший с воскресением. Дома почему-то кроме Бори никого не было. Я зашел к Боре с бутылкой, наполненной драгоценной влагой. А закуски-то не было. Время то было в начале тридцатых. Да-да – карточки, Боря сказал: «Знаешь, у дяди Степы есть селедка. Но он, когда принес, сказал, что она неважная».

Мелькнула ли мысль пригласить Степана Борисовича, или он сам, услышав голоса и скучая, зашел, я не помню. Второе все-таки вероятнее, т. к. я сам никогда бы не решился пригласить на такое дело маститого профессора.

Он вошел. Увидел удивительной прозрачности влагу. Боря быстро поставил на стол три шкалика. Откупорили. И только хотели наливать, как Степан Борисович засуетился:

«Подождите. У меня же есть селедка». Боря, лукаво поглядев на меня, произнес: «Кажется, она не хороша». – «Нет-нет. Очень хорошая». Принес солидную селедку и черного хлеба. Пили очень неторопливо. Степан Борисович был явно оживлен, И не один час длилась интереснейшая беседа, которую вел и направлял знаменитый историк. Говорилось и о Германии, и о Китае, и о системе податей и налогов на Руси, и о многом другом. Речь красочная, иной раз хорошо посоленная, как та селедка, что мы ели. А в заключение он нам преподал некое житейское наставление: «Если вы не хотите разочароваться в людях и получать от них неприятности – при знакомстве с новым человеком относитесь к нему заранее как к мерзавцу».

Я до сих пор думаю, что в этом совете содержится рациональное зерно. Во всяком случае, при ошибке не возникает разочарование. Напротив...

Игорь Нечаев

Из тетради 30-х годов.
Стихотворения

* * *

Друзья, склоните мирно уши
К словам моим теперь. Нельзя
Разлукой временной нарушить
Статут священный о друзьях.

Стучась негромко из передней,
Вхожу в укромный ваш удел,
Как раньше, скромный собеседник
И сопричастник ваших дел.

Вам друг протягивает лапу
Издалека, как верный зверь.
Заменит, может быть, у лампы
Его другой для вас теперь.

Но думать все-таки отрадно,
Что он, в сердцах храня приют,
Когда воротится обратно –
Найдет утраченный уют.

Не отвечайте на вопросы,
Куда пропал он от невзгод:
Ваш друг, – он вышел с папиросой –
У двери он, сейчас войдет.

13. XI. 1937

[Прислано Н. К. в Мелитополь из Семипалатинска,
где И. Н. временно «проживал» у родителей]

* * *

Бог мне скажет: «Моим могуществом
Так и быть, возьму тебя в рай».
Не расстанусь с моим имуществом,
Собираясь в небесный край.

Ничего не забуду, не спутаю
Из квартирного бытия.
Захвачу с собой тещу лютую,
Чтобы не было мне житья.

Заберу я соседей с примусом,
Тараканов, клопов и блох.
Переезд мой под райским куполом
Верно вызовет переполох.

Управдома возьму, милицию,
Подарив ей шестой талон,
Чтобы весело с райской птицею
Пересвистывался мильтон.

Не забуду ворон и ласточек
Никакого еще зверья,
Ничего, даже хлебных карточек
Не оставлю в квартире я.

И привыкши под небом пасмурным
Землю топать из края в край
С багажом, с билетом и с паспортом
Аккуратно явлюсь я в рай.

Но увидя такую разницу
Между ним и моим мирком,
Бог мне даст коленкой под задницу
И я в ад полечу кувырком.



Путь добрый, друзья! Следите проверенный компас.
Счастливого лета! В горах и долинах не грех
Траву потоптать, опаленную яростным солнцем.
Купаться в бурунах сибирских стремительных рек.

Мы встретимся осенью. Вы привезете в баулах
Каменьи, гербарии, пленки и ворох бумаг.
И медный загар на тронутых бритвою скулах
Отметит ваш облик в толпе подмосковных бродяг.

Приветствуя осень в прощальной ее позолоте,
Узнавши другой, горожанам неведомый мир,
Вы ворох рассказов, легенд, новостей привезете.
Втеснить их стремясь в габариты московских квартир.

1938 – 1939 гг.

ЖУРАВЛИ

В небе чистом и синем
Высоко от земли
В даль уносятся клином
Журавли, журавли.

Попрощаемся с летом,
С цветом трав и лесов.
В циферблате планеты
Вы как стрелки часов.

Город кроется пышный
В золотистой пыли.
Пролетают над крышей
Журавли, журавли.

Не отсюда ли деды
Ваш следили полет:
«Попрощаемся с летом,
видно, кончился год!»

А счастливые внуки,
Вас увидя вдали,
С криком вытянут руки:
«Журавли, журавли!»

Попрощаемся с летом,
Год идет на ущерб:
Вы вернетесь с приветом
В дни цветения верб.

Путь счастливый, летите!
К теплым странам земли.
Чернокрылые птицы,
Журавли, журавли.

18. IX. 1938



* * *

Бокал становится у нас традиционным
Мы пьем по всяким поводам и без.
Мы пробуем зарю встречать стеклянным звоном
И клики возносить и песни до небес.

Но я не из таких. За трапезой вечерней
Стакана, по края налитого, до дна
Не запрокидывал. И время – виночерпий
Не предлагает мне душистого вина.

Но если ночь тиха и звезды в небе крупны,
Готовые упасть серебряной слезой,
Становятся душе притихшей недоступны
Добытые трудом отрада и покой.

И точно сок густой созревших виноградин
Забродит глухо кровь с мечтаньями в разладе.
Но чтоб молчала чуть и крепли чувства крылья
И заново душа почувствовала мир,
Четверостишья строк выходят без усилья
И строгие зовут настойчиво на пир.

Я знаю, что время не ждет на задворках.
Редеют виски и стареет отец.
Рассованы, может быть, сны по каморкам
И хочется ласковых слов под конец.
Я знаю, что матери слезы не новость.
Не плачь – не сойдет позолота с колец.
Для тех, кто от грёз не отстал ни на волос
Нет долгой печали в глубинах сердец.
И в эту минуту, как влагу в стакане,
Свой голос за вас подымаю. И тост.
Я знаю, услышите вы в Казахстане –
И каждый, ответствуя, выпрямит рост.
Довольно, друзья. Если стали короче
И реже сыновних посланий листы,
Не надо печалиться. Дело не в строчках,
А в том, чтобы сердца огонь не остыл.
Я знаю, что время не ждет у порога.
Оно на полях размечает кресты.
О нашей судьбине напрасна тревога –
Мы строим поэмы, каналы, мосты.
Но мы успеваем и в этом кипенье
Мечтать о прекрасном, смеяться, любить
И в ногу идти со своим поколеньем.
Короче, умеем работать и жить.
Друзья, до свиданья. Пусть влагой в бокале
Заблещет стиха дорогое вино.
Так чистые искры мерцают в опале,
Так ночь посылает созвездья в окне.

9 мая 1937

СЕРИЯ «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»
под редакцией Г. А. Бордюгова

Н. К. Веселовская

Записки выездного врача «Скорой помощи» (1940 – 1953)

Редакция и предисловие
А. Г. Макарова

Дизайн обложки *С. Щербина*

Редактор *Е. Зарайская*

Подписано к печати 9.04.2016 г. Формат 70x100 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная № 1.
Усл.-печ. л. 11.5. Тираж 500 экз. Заказ 2081

АНО НИЦ «АИРО–XXI»
107207, Москва, Чусовская ул., д. 11, к. 7.
Телефон: (095) 466-16-35.
e-mail: andmak@airo-xxi.ru
http: www.airo-xxi.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59


РЕСТОРАН
Серия «АИРО – ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ»